КНИГА ЗА КНИГОЙ



Анатолий Мошковский

ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ

*Издательство
„Детская литература"*



А. МОШКОВСКИЙ

ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ

Рассказы

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р2
М87

Рисунки О. Коровина

Мошковский А. И.

Вызов на дуэль: Рассказы/ Рис. О. Коровина.— М.: Дет. лит., 1979.— 64 с., ил.

15 к.

В книгу входят известные рассказы писателя: «Твоя Антарктида», «Гауптвахта», «Кешка» и др.

$М\frac{70803-267}{101(03)79}$ 209—79 Р2

© Состав. Иллюстрация.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.



ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ

В четвёртом классе мы обзавелись личным оружием — рогатками из тонкой резинки. Резинка надевалась на пальцы и стреляла бумажными пулями, скрученными из газет или тетрадочных обложек.

Это оружие можно было мгновеино спрятать в рукав куртки, в ботииок и даже в рот — попробуй найди!

В умелых руках это было грозное оружие, и бумажиые пули разили точно и «насмерть». Самым метким стрелком в классе был Жеиька Пшённый. Он при мне на спор стрелял по мухам, выбил из трёх возможных два очка — пули расплющили иа классиой стеие одну за другой двух мух — и выиграл два метра резиики.

Я в этом деле и в подмётки ему не годился — из пяти возможных выбивал только одио очко. А другие и того меиьше. Меткость Женьки была общепризнаина, и мы даже иазывали его Снайпером.

— Эй, Снайпер, дай списать русский!

Или:

— Что сегодня идёт в «Спартаке», Снайпер?

Это прозвище он любил больше своего имени, охотно откликался и призиательио смотрел на окликавшего. Он

он владел секретом производства особых пуль: так плотно крутил их и перегибал, что они не раскручивались в полёте, были тугими и точными. Попадёт на уроке в шею — взвоешь, какой бы выдержкой ни обладал.

Он же, Пшенный, возродил в нашем классе забытую традицию дуэлей. За какую-нибудь обиду или проступок любой мальчишка мог вызвать другого на дуэль. Женька даже дуэльный кодекс разработал: выбранные секунданты отмеряли шаги, мелом чертились на полу линии, с которых стреляли, на глаза надевались специальные очки-консервы (в них ездят мотоциклисты). Двое таких очков где-то раздобыл Женька и выдавал дуэлянтам, не желавшим перед поединком мириться. Даже при Пушкине и Лермонтове не были, наверно, дуэли такими беспощадными, как в нашем 4 «Б»!

Обычно на арифметике — ох и скучные были уроки! — мы заготовляли пули: крутили их на коленях.

Хуже всех в классе стрелял Петя Мурашов — маленький, тощенький, с сыпью розовых прыщиков на лбу и серьёзными глазами. Ему-то и десятка пуль не хватало, чтоб укокошить на стене одну-единственную муху!

Да и в общеклассных стрелковых соревнованиях он выходил на последнее место. Пули он крутил самые бездарные: они разворачивались, были мягкими, кривыми и летели куда попало, только не в цель.

Всё это было понятно: когда ж ему тренироваться в стрельбе, если всё свободное время он был занят Веркой, препротивнейшей девчонкой из нашего класса. Она корчила из себя большую умницу и, наверно, воображала, что она первая красавица в классе. Ходила Верка в чёрном платье с белым воротничком, была аккуратно причёсана и до отвращения старательно слушала всех без разбору учителей, даже учителя пения.

Ну, понимаю, историю или географию нельзя не слушать, но чтоб всерьёз относиться к пению или скучнейшей арифметике, к запутаннейшим задачкам про пешеходов, от которых голову ломит... А ей всё было интересно!

Так вот, этот худенький Петя всё время вертелся вокруг Верки: носил ей читать книги из отцовской библиотеки, делился завтраком, если она забывала. Помогал даже запихивать в портфель учебники. И терпеливо, как часовой на посту, поджидал её после уроков у двери, если она куда-то отлучалась и не выбегала из школы со всеми...

Я страдал, глядя на его унижения. Я хотел раскрыть ему глаза на всё.

Однажды на уроке рисования я бросил на его парту записку: «Петька, твоя Веруха пол-урока смотрится в зеркало. Как ты можешь терпеть это? Очнись, несчастный! Опомнись, жалкий раб! Встань, наконец, с колен и будь свободным человеком!»

Я пристально наблюдал за ним: вот его пальцы развернули мою бумажку в клеточку, вот он прочитал её и порвал на мельчайшие клочки. У него даже уши не порозовели, и я очень разозлился. Я не ждал от него ответного послания, потому что он, как и эта Верка,— заразился от неё, что ли,— был примерным мальчиком и едва ли мог рискнуть написать и тем более бросить во время урока записку на мою парту.

Даже на переменке не подошёл ко мне Петя.

Но больше всего меня бесило то, что моя записка совсем не задела его. Значит, он считает, что это в порядке вещей? Скоро будет шнурки завязывать на Веркиных ботинках или на руках носить её в школу!

Я не вытерпел и подошёл к нему со свирепым лицом:

— Чего не ответил? Отобрал бы у неё зеркало — и дело с концом.

— Зачем?— И спросил он это таким тоном, что мне захотелось двинуть в его трусливую, рабскую физиономию.— Тебе тоже не мешает хоть раз в неделю подходить к зеркалу. Зарос, как дикобраз. Она девочка, и аккуратная, ей нужно...

После этих слов я окончательно возненавидел Верку. Я не мог видеть её тонких, прилежно поджатых губ и карих раскосых глаз, не мог слушать её точные, спокойные ответы, её смех на переменках...

Особенно меня поражала её аккуратность. Даже в осеннюю грязь приходила она в чистых ботинках, на её пальцах и лице никогда не было чернильных клякс, тетради её ставились в пример другим, её косички с бантиками всегда были тщательно уложены: ни прядка, ни один волосок не выбивались на её лоб, чистый и умный. Её внимательность на уроках была выше моего понимания.

Нет, нужны были срочные меры!

Недолго думая я выдрал из тетради лист, сунул мизинец в непроливайку и вывел огромными фиолетовыми буквами: «Я дурочка». На переменке сбегал в канцелярию, мазнул обратную сторону листа клеем и незаметно приклеил лист на спину Верке.

Успех был полный. Ни о чём не подозревая, ходила она по школьным коридорам, и вслед катился смех. Верка ничего не понимала, краснела, металась из угла в угол, как затравленный волчонок, пока лист не отвалился от её спины — клей в канцелярии оказался неважным.

На следующий день Верка носила по коридорам огромное объявление «Ищу жениха!», и хохот всей школы громыхал за ней по пятам. Верка припустилась назад и укрылась в классе, где Петя и сорвал с её спины лист.

Верка глянула на лист, и глаза её наполнились слезами. Сморгнув их, села за свою парту, отвернулась к стенке, и мне было видно, как вздрагивает её спина.

Я торжествовал: получила по заслугам!

Но кто-то выдал меня. В классе нашёлся предатель. Меня отчитал классный руководитель и пообещал рассказать обо всём отцу. Но это было ещё не всё.

На большой переменке ко мне подошёл Петя, этот раб и слюнтяй, подошёл — маленький, бледный, с серьёзными глазами — и, заикаясь, сказал:

— Вввы-вызываю тебя на дуэль.

Я даже опешил: он и дуэль — это просто не вязалось. Ни с кем ещё он не дрался и драться не собирался!

— Проваливай! — сказал я.— Что с тобой связываться? Вначале стрелять научись.

И здесь случилось непостижимое. Все ребята, как сговорившись, заорали:

— Нет, ты не должен отказываться! Это против закона!

Я даже отступил к стене. Я ничего не понимал. Ну что я сделал им плохого? Только проучил эту самую Верку, и здорово проучил. То все были за меня и смеялись, а то вдруг переметнулись на сторону Петьки. И средн них был даже Женька Пшенный... Вот она какая, оказывается, жизнь!

«Ну что ж, драться так драться»,— твёрдо решил я н поклялся посильнее влепить в его лоб пулю. Пусть знает, как иметь со мной дело. И всем им отомщу!..

Тут же были выбраны секунданты, отмерены десять огромных шагов в проходе между партами. Всеми приготовлениями распоряжался сам Пшенный. Он провёл мелом на полу две черты и приказал закрыть на стул дверь, чтоб не вошёл дежурный по этажу учитель.

— Уважаемые дуэлянты,— обратился к нам, как требовали правила, Женька,— в последний раз предлагаю вам помириться, пойти на мировую и подать друг другу руку. Ты виноват перед Верой, извинись, и всё будет...

— Нет! — закричал Петя.— Никаких извинений — будем стреляться!

— А я и не собираюсь извиняться! — отрезал я.— Принимаю вызов.

Я был уверен, что Петя доживает свои последние минуты на этой земле, и твёрдо, сквозь зубы произнёс:

— Прощайся с жизнью, презренный!

Нам были выданы очки-консервы и по одной пуле Женькиного производства: они должны быть одинаковыми. Потом Пшенный оглядел наши «пистолеты» — надетые на пальцы резинки — и важно сказал:

— Противники, на линию огня!

Мы стали возле начертанных мелом линий, и Пшенный проверил, чтоб ботинки ни одного из нас не переступили их.

— Начинайте! — деловито сказал Пшенный.

Мы стали целиться.

До боли сжав губы, я оттянул насколько мог назад резинку — удар должен быть точным!

Большие квадратные очки, туго сжатые на затылке ремешками, больно врезались в щёки. Все, кто был в классе, выстроились у стен. Я хладнокровно целился в розоватый Петькин лоб. Вдруг кто-то задёргал дверью, и стул, одной ножкой продетый в дверную ручку, запрыгал.

Я готов уже был выстрелить, но отвлёкся на мгновение, и вдруг... нет, в это нельзя было поверить... в мою грудь ударила пуля.

— Падай! — заорали ребята.— Падай, ты убит!

Я продолжал целиться, но кто-то вырвал у меня «пистолет», меня схватили, приподняли и силой уложили на пол — таков был ритуал.

Потом я встал, сорвал с лица очки-консервы, сдёрнул с пальцев резинку и ушёл в коридор. Я не хотел никого видеть. Они предали меня и были рады моей гибели, а я дружил с ними, считал их добрыми, любил их... Предатели! И как это Петька попал? Но что я мог поделать? По принятому нами же закону отныне я на неделю лишался права участвовать в дуэлях и должен был подчиниться этому.

Я был убит на дуэли, и, как понял это позже, был убит по заслугам.

1963





ТВОЯ АНТАРКТИДА

В подъезде большого дома стояли трое ребят и смотрели, как во дворе шумит ливень. Ливеиь был такой сильный, что земля, казалось, кипела от него, а тротуар, о который он вдрызг разбивался, дымился белой пылью. Вода осатаиело клокотала в водосточиой трубе, яростио выхлёстывала иаружу и мутиым, пеиистым ручьём бежала вдоль тротуара.

Иногда брызги долетали до ребят, и тогда старший из иих, Игорь, недовольио морщил переиосицу и отодвигался назад. Второй мальчик, Серёжка, смотрел иа ливень, иеподвижиыми испугаииыми глазами — ои никогда ещё ие видел такого сильиого дождя. И только Алёша, сииеглазый и тоикоиогий, в сандалиях и белых иосочках, был рад.

— Льёт, как тропический! — кричал ои, заглушая плеск ливия.— Как в Африке! Ои там деревья ломает и хижииы сносит. И обезьяикам от иего спасеиия иет... А зато крокодилы... иу и рады!..

Алёша подался вперёд, и иа его аккуратиой матроске с отложиым воротииком и шитыми золотом якорями заблестели крупные капли.

— Побегаем по дождю? Побегаем, а? — иетерпеливо топтался он у двери.

— Это с какой целью? — холодно спросил Игорь.

— А ни с какой — просто так!

— Ну и беги, промокай на здоровье.

Алёша насупился. Но это продолжалось одну секунду. Не было ещё такого слова на земле, которое могло бы погасить его азарт. Не хочет Игорь — не надо! Зато Серёжка, наверно, согласится: он ещё не такой большой и не такой надутый, чтоб не захотеть побегать под ливнем. Алёша повернул к ребятам круглое, обрызганное дождём лицо с отчаянно горящими глазами:

— Серёжка, бежим!

Игорь с Серёжкой о чем-то зашептались.

— Ладно, — громко согласился Игорь, — только вместе. Слушай мою команду: раз, два...

Алёша весь напрягся.

— Три!..

Алёша стремительно прыгнул в ливень. Со всех сторон его сразу окатило водой, словно он прыгнул в реку. Струи бешено хлестали по лицу, по плечам, стекали по спине и ногам, ручьями сбегали с рук.

Но что это? Приятели по-прежнему стоят в подъезде. Неужели струсили?

Алёша стал неистово плясать на асфальте, чтоб разжечь и выгнать из подъезда своих робких и вялых приятелей. Он шлёпал себя по обвисшей тёмной курточке, хлопал в ладоши и пронзительно визжал. Но ребята ни на сантиметр не высунулись из двери. Тогда Алёша влетел в подъезд:

— Струсили?

— Уйди, мокрая крыса! — зашипел Игорь.

Оба приятеля шарахнулись от него в глубь подъезда и, хватаясь за животы, вызывающе громко рассмеялись и побежали вверх по лестнице.

— Предатели! — закричал Алёша с горечью, отжимая матроску и штаны.

На улице стало смеркаться. Приближался вечер.

Обычно в это время из квартиры выскакивала няня Надька, толстощёкая, с рыжими косицами, и, размахивая алюминиевой поварёшкой, оглашала двор зычным голосом:

— Алё-ёша! 	Вече-рять!

Чаще всего Алёша, тяжело сопя, боролся с другими ребятами или бесстрашно прыгал с помойки в песок—а ну, кто дальше! Надьке приходилось гоняться за ним, хватать за руку и силой тащить в подъезд.

Но сегодня няню отпустили на выходной день в деревню, и за Алёшей никто не шёл. Идти домой самому очень непривычно, но что поделаешь... Алёша глубоко вздохнул: надо —

не будешь же до ночн торчать однн в этом тёмиом, скучном подъезде. К тому же, честно говоря, ие так уж прнятно чувствуешь себя в мокрой одежде: штаны лнпнут к ногам, матроска плотно пристала к животу и спнне, в саидалиях чавкает вода. Холодио! Зубы так н выбивают мелкую дробь...

Алёша медлеиио подиимался по лестнннце, оставляя на ступеиьках мокрые следы. Он обдумывал, что бы такое соврать матерн. Может, сказать, что ливеиь застал по дороге к Витальке н укрыться было негде?

Дверь оказалась незапертой, н Алёша, легонько толкиув её, вошёл в переднюю, где стоял белый, дышащий морозом холодильиик и иа лосиных рогах висели пальто и шляпа отца. Алёша осторожно прнкрыл за собой дверь и стал прислушиваться. Из глубнны квартиры доиоснлся чей-то незнакомый, резкнй голос:

— О нас ты не думаешь, о себе бы хоть подумал!.. Ах, оставь, я всё это знаю...

Алёша так и застыл с полуоткрытым ртом. Кто это? Неужелн мама? Конечно, мама! Она говорила быстро и сердито. Голос её дрожал, и оиа глотала коичикн слов. Наверно, что-то случилось. Голос у мамы всегда был спокойный, певучий; оиа мягкая и иевредная. А теперь Алёше даже трудио было представнть её лнцо.

Дома мама бесшумно ходнт в ковровых туфлях с красиыми помпоичиками. Она любнт сндеть на шнрокой тахте н, поджав ноги, читать старые кннгн в кожаиых переплётах, с рассыпающнмнся пожелтевшими страннцами. Иногда мама даже выходнт на кухию со страннчкой в руке: пробует суп и одиовремеино читает — вот, вндио, интересио! Одиажды Алёша нашёл в передней одну такую потерянную мамой страннчку, но она, как назло, оказалась ненитересиой — про какую-то замнрающую от тоски грудь н поцелун. Алёше даже неловко было давать маме эту страннцу — ещё подумает, что нарочио стащнл. И Алёша незаметно водворнл её иа место. Но остальные, иаверно, ннтересные!

А иа тоиком столнке у мамниой кроватн столько разиых коробочек, флакончиков, баночек н трубочек — нужно полдня, чтоб все нх открыть, посмотреть, перенюхать...

Когда Алёша проходнт с мамой по двору, соседки почти всегда говорят одно и то же: у такой молодой мамы такой большой сын. Что он большой, это верио, н спорнть здесь ие прнходнтся, ио почему мама молодая? Ведь ей уже двадцать восемь лет! А если говорнть про отца, так он совсем старнк — ему тридцать три! И, еслн б он не брнлся через день, его бородой можно было бы подпоясаться, да ещё кончнк остался

бы, чтобы с котом поиграть. Но иногда соседки говорят просто возмутительные вещи: «Ах, какой у вас, Елена, сын!.. Красавчик!.. Прелесть, а не мальчик! А какие у него ресницы — пушистые, длинные, чёрные, а кудряшки белые... Девочке бы они достались — на всю жизнь была бы счастливая...»

Уж это было слишком. Алёша вырывался из рук матери, убегал за сарай. Он с остервенением ерошил волосы, попробовал даже выдернуть ресницы. Это было больно, и он махнул рукой: пусть остаются девчоночьи ресницы, и с ними как-нибудь проживёт. Сам-то он, чёрт побери, мужчина!

Когда Алёша показывал оторванную подошву, мама никогда не ругалась, а только удивлённо спрашивала, обо что это он так саданул ногой. Затем немедленно посылала Надьку в обувной магазин, и снова консервным банкам и кирпичам, заменявшим мяч, приходилось туго.

Да, мама у него хорошая и очень красивая, и в кино таких не встретишь! И живётся ей очень весело. Даже без отца не скучает. Подойдёт иногда к приёмнику, покрутит ручки, поймает танцевальную музыку, потом блеснёт глазами, щёлкнет пальцами и одна закружится по комнате, придерживая рукой разлетающиеся полы халата; затем притопнет каблуком и громко-громко рассмеётся, встряхивая золотистыми волосами. Ну совсем как девочка! А когда ей не нравится Надькин суп, скривит губы, сморщит нос — ну точь-в-точь как семилетняя Ирочка из соседней квартиры!

Если б не Надька, которая четыре раза в день уволакивает Алёшу в дом, жизнь у него была бы совсем беззаботная.

Отец дома бывал редко. Он то надолго уезжал в далёкие экспедиции, то пропадал в университете, где читал студентам лекции. Когда он приходил домой, мама сразу оживлялась, веселела, оставляла свои книги с рассыпающимися листками и, как капитан океанского корабля, отдавала приказания Надьке разогреть суп и подать жареного цыплёнка в соусе. После обеда мама любила поиграть на рояле. Отец, погрузившись в глубокое квадратное кресло, слушал её, курил трубку, и синий дым заволакивал его большое худощавое лицо.

Он внимательно и неподвижно смотрел на маму, а она на него, не переставая играть, и её тонкие белые пальцы сами знали, на какую клавишу надо нажать. Её плечи вздрагивали в такт ударам рук, а губы едва заметно улыбались. И лицо её, чуть запрокинутое, становилось мечтательным, мягким, каким-то светлым, и от улыбки виднелись блестящие краешки зубов.

— Ну как? — спрашивала она у отца.

— Хорошо, — задумчиво отвечал отец.

И Алёша понимал, что это относится не только к её

игре, а к тому, что вообще славно жнть на свете. Славио н очень интересно.

Очень любил Алёша н отца, но любнл по-другому. Отец — путешественннк н исследователь, и Алёше приятио слушать, с каким уважениeм разговарнвают с ннм студенты, заходя иногда по разным делам к ннм домой. Но отец не всегда бывает строгнм н задумчнвым. До чего забавио побегать с ним по ковровым дорожкам нз одиой комиаты в другую, а из другой — в третью, и тайком от Надькн — отец только посмеётся! — покататься на скрнпучей дверн. А книги! Сколько у отца ннтереснейшнх кииг про путешествня!

Только одии раз мама говорила с отцом не очень ласково. Алёша тогда сделал внд, что ннчего ие замечает, и, уткиувшись в стол, рисовал на лнстке перекндного калеидаря атомиый самолёт, а мама иедовольно ходнла по комнате, н у неё от резких движеиий развевались волосы. Это случилось два года назад, когда оин въехали в большую квартнру н отец увешал стены соседией с кабннетом комиаты разными картамн. Былн тут н старые, иевзрачные, очень потёртые карты, подклееииые во многих местах, но были н очеиь красивые, блестевшие голубнзной огромных океанов и морей, сииими жилками рек.

— Ты нзвннн меия,— говорнла тогда мама, чуть повысив голос,— но ведь это, в конце концов, как бы тебе сказать... неэстетичио. Ведь не ауднтория же здесь, а жилая квартнра. А если ты думаешь, что оии придают кабниету уют...

— Лена, как ты ие хочешь поиять,— спокойио отвечал отец,— ведь это мои рабочие карты, а не безделушки для украшеиия.

Отец говорнл правду. Миогие карты побывали с иим в экспедициях, н иа инх красиым карандашом былн отмечены маршруты. По этнм картам Алёша учил азбуку. Ои зиал, что пятно, смахивавшее на брюкву,— Африка, та самая, в которой водятся жирафы н крокодилы, что земля, похожая на сапог,— Италия. Но это Алёша узиал ещё в позапрошлом году, а в ныиешием всё свободное время ои проводнл в кабииете и читал отцовские киигн про путешествия. Правда, читать кииги с мелким шрифтом было трудиовато, ио какне трудности могут помешать ему узиать, чем коичилась экспедиция Георгия Седова, нли Челюскина, или неистового Магеллана! Он так увлекался книгамн, что Надьке приходилось отннмать нх во время обеда. А одиажды, когда оиа застала Алёшу в три утра в постелн за чтеиием увесистого тома о Колумбе, Надька погасила свет н иичего ие сказала, ио матери наябедиичала, потому что утром, едва проснувшись, Алёша услышал, как мама взволноваиио говорила иа кухие:

— Прямо не знаю, что с ним делать! Мальчику только девять, а он уже, наверно, больше меня прочитал... Раннее развитие очень вредно.

Алёша так и не понял, почему вредно читать интересные книги, но няня, наверно, понимала это хорошо: с этого дня Надька начала ставить все книги в шкаф и запирать на ключ.

Но не только книги и карты были в кабинете отца.

В нём находилось много и других необычных вещей. На столе вместо пресса лежит огромная, тяжёлая капля, не то стеклянная, не то каменная. Это кусок лавы с Ключевской сопки, на которую вместе со студентами поднимался отец. Рядом с куском лавы лежит медный компас: нажмёшь особый рычажок — и лёгкая двухцветная стрелка затанцует под стеклом; а если водить сверху пером, то эта стрелка гоняется за ним, как голодная. А в книжном шкафу одну полку занимают разные высушенные крабы, морские раковины, камни... Под кроватью отца стоят огромные, неуклюжие унты из оленьего меха, привезённые с мыса Дежнёва, куда он ездил ещё в студенческие годы...

И вот сейчас Алёша стоял в передней, мокрый, взъерошенный, шмыгая носом, и с бьющимся сердцем слушал чужой, незнакомый голос матери:

— С твоим ли здоровьем это говорить? Не на Камчатке ли ты получил хронический насморк?

Алёша вдруг почувствовал, как из носа побежало, и он едва успел вытащить платок, который мама всегда клала в карман, отправляя его на улицу.

— Лена...— ответил отец, и по тому, как упрямо прозвучал его голос, Алёша сразу представил морщинку, клинышком упёршуюся в переносицу.— Забудем про это... Ничего со мной не случится... Эх, Ленка-Ленуха, знала бы ты, сколько я мечтал об этой экспедиции! Чуть побольше нашего Лёшки был, а уже мечтал... У каждого, понимаешь ли, человека должна быть в жизни своя мечта, своя Антарктида... А без неё какой же ты человек?.. Что это за материк!

— На мысе Дежнёва заболел воспалением лёгких? Заболел. А ведь в Антарктиде, сам говорил, морозы достигают восьмидесяти градусов...— В голосе матери слышались слёзы: вот-вот заплачет.

Алёша собрал на лбу морщины: о чем это они, собственно, говорят?

— Да пойми же ты: у нас будут особые куртки на гагачьем пуху. Никакой мороз не страшен.

— А плыть... Через всю землю! А штормы и бури? Нет-нет, при твоём...

Алёша насторожился: штормы и бури — это интересно.

— Лена, ты опять за своё! Корабли у нас мощные... И потом, ну как же ты не хочешь понять: не могу я туда не поехать! Понимаешь — не могу! Лёг я вчера спать — и попал прямо в Антарктиду. Вышел на берег. Вокруг белым-бело. Сверкают айсберги, метёт метель. А я стою на берегу, стою там, где ещё не ступала нога ни одного человека. А кругом снега — сухие, вечные, которые ни разу не таяли... Ведь ещё точно неизвестно, материк это или архипелаг, острова, прикрытые ледяным щитом... Есть там среди гор и оазисы, и даже цветы цветут — это в Антарктиде, ты только подумай! И если найду два цветка, один — в гербарий, другой — тебе... И есть там ещё озёра, и никто не знает, образовались ли они от подземных пожаров каменного угля, или...

Алёша не мог дохнуть от волнения.

— Слушай, Костя... Но ведь это далеко... это так далеко! Оттуда можно не вернуться... А обо мне... обо мне ты не думаешь... Уходишь в университет — беспокоюсь, а то уехать туда... Наконец, у тебя есть сын, которого ты обязан воспитывать...

— Лена, да ведь это только на год. Нас сменят. Понимаешь, всего на один год... И при теперешней технике это совсем не опасно...

— И при твоём здоровье?

Алёша был ошеломлён: вот это да! На другой конец земного шара... Какой счастливец отец! А мама тоже хороша... Ну что ей надо? Радовалась бы, плясала, а то на́ тебе — запрещает отцу поплыть на другой конец земного шара делать открытия!.. Вот, оказывается, что бывает у них дома в то время, когда он отплясывает под дождём или прыгает с помойки — кто дальше...

В передней было так тихо, что сухое потрескивание счётчика возле двери оглушало Алёшу. В носу защекотало, хотелось чихнуть, но мальчик с трудом сдержался и продолжал насторожённо слушать.

— Боже мой, какая я несчастная! — проговорила мама, сморкаясь в платок.— Другие девочки из нашего класса вышли замуж за обыкновенных смертных и счастливы, а я... я...

— Лена,— сказал отец сурово,— если так, то я должен предупредить тебя: я уже подал заявление ректору университета с просьбой зачислить меня в состав экспедиции, и отступать я не намерен, и ещё...

— И что «ещё»? — Мама перестала плакать.

— И ещё начальнику Главсевморпути...

— Ах, вон оно что! — сказала мама каким-то новым, напряжённым голосом, и Алёша по лёгкому шуршанию платья понял, что она поправляет заколки в тугом узле волос на за-

тылке: так она делала всегда, когда снльно волновалась.— Ты, значнт, уже н заявленне подал? И со мной не посоветовался?

За дверью застучалн каблукн.

Алёша мгновенно юркнул в столовую. Едва он успел уткнуться в первую попавшуюся кннгу — это оказалась «Вкусная пнща»,— как в комнату вошла мама н, ннчего не замечая вокруг, прошла в другую комнату. Глаза её смотрелн в одну точку, подбородок был чуть прнподнят.

Отец ходнл по кабннету, н даже мягкнй ковёр не мог заглушнть его шагов. На скрнп дверн он не обернулся, но, когда услышал голос сына, удивлённо посмотрел на него.

— Морскую ванну прннял? — спроснл он.

— Ага! — Алёша улыбнулся: отцу можно сказать всю правду, он поймёт, сам небось не раз вымокал в экспеднцнях под лнвнямн.

Отец щурнлся от яркого света, н его внскн с проседью сверкалн, как соль. По его лнцу, сухощавому н спокойному, с решнтельнымн складкамн у рта, нельзя было н представнть, что мннуту назад он поссорнлся с матерью.

— Ты что это кашляешь? — вдруг подозрнтельно спроснл он.

— Я не кашляю,— сказал Алёша н, посопев носом, ещё раз кашлянул.

— А ну подн сюда! — Отец прнложнл к его лбу большую ладонь н покачал головой.— Ты весь дрожншь... Тебя знобнт?

— Я... я... не дрожу,— ответнл Алёша, зубамн выбнвая дробь н мелко вздрагнвая всем телом.

— А ну переодевайся, н скорее! — серднто сказал отец.

Алёша очень хотел расспроснть отца об Антарктнде, куда мама не пускала его н куда он так рвался чуть не с Алёшнного возраста, н ещё хотел сказать отцу, что хоть мама н очень хорошая н краснвая, но чтоб в этом вопросе он нн в коем случае не слушался её.

Но Алёша почему-то решнл, что сегодня лучше об этом помолчать.

А утром он проснулся с жаром. Мама снлой втолкнула под мышку градусннк, холодный, как собачнй нос, н Надька неусыпно сторожнла все десять мннут, чтоб хнтрый Алёшка не стряхнул ртуть. И уж конечно, температура оказалась повышенной. Мама не разрешнла вставать, н завтракал он в постелн. Днём прншёл врач, послушал черной трубкой грудь, спнну, нзрёк: «Грнпп» — н ушёл, а мама немедленно отправнла Надьку в аптеку за лекарствамн.

Чувствовал себя Алёша не так уж плохо, но покорно разрешнл сунуть в рот порошок н влнть столовую ложку горькой— прншлось сморщнться — мнкстуры.

Всё это были сущие пустяки, на которые не стоило обращать внимания. С той минуты, когда он случайно подслушал спор родителей, его жизнь круто изменилась. Когда отец ушёл на работу и куда-то ушла мама, а Надька возилась на кухне, мальчик слез с кровати, шмыгнул в отцовский кабинет, вытащил из-под шкафа ключик, куда его спрятала зловредная Надька, и стал с лихорадочной поспешностью читать всё, что было про Антарктиду. Дизель-электроход скоро должен отплыть, времени оставалось в обрез, а он мало, он так позорно мало знает об этом загадочном материке! Он должен знать о нём всё, решительно всё...

Из энциклопедии выяснилось, что материк занимает четырнадцать миллионов квадратных километров — ого! Что средняя высота его гор — три тысячи метров — тоже ничего! Что возле Антарктиды плавает уйма китов, есть и тюлени, и моржи, и императорские пингвины, но — вот беда! — нет ни одного белого медведя...

Как только в дверь позвонили — должно быть, вернулась мама,— Алёша метнулся в спальню и юркнул в постель. Так продолжалось три дня, пока ему не разрешили вставать. Теперь он почти всё время изучал книги про Антарктиду. В их доме, однако, что-то изменилось — и это было сразу заметно. Когда Алёша сидел за столом, отец почти не разговаривал с матерью, а всякий раз, когда мальчик приходил со двора, родители сразу умолкали — видно, спор ещё продолжался.

И вот однажды утром мама ушла в спальню, как обычно, в халате и вышла неузнаваемая — в сером костюме с узкой юбкой и в чёрных лаковых лодочках. Она сразу стала тонкой и высокой, и Алёша прямо залюбовался ею. От мамы так пахло духами, что в носу у Алёши защекотало. Лицо у неё было очень строгое, чуть припухшее под глазами.

Надев серую шляпку, мама стала копаться в отцовском шкафу, просматривать и откладывать в сторону какие-то бумажки с круглыми и треугольными печатями. А в одной из них, похожей на обложку тетради, были закреплены кусочки плёнок, вроде киноленты, только вместо кадров были изображены какие-то волнистые линии.

Гремя стульями и хлопая дверями, мама вернулась на кухню, отдала распоряжение Надьке насчёт обеда, посмотрелась в зеркало и ушла из дому. А Алёша тотчас очутился в отцовском кабинете. Он, как это очень любил делать отец, уселся в глубокое квадратное кресло и, глядя на карту полушарий, погрузился в мечты...

Шумит океан, гонит на жёлтый берег Африки крутые грохочущие волны, свищет ветер, а по океану, сквозь пену и брызги, ломая носом валы, быстро идёт могучий дизель-элек-

троход. На мостике рядом с капитаном стоит в меховой одежде отец, рослый, широкий, прямой, с твёрдыми, бесстрашными глазами. Он смотрит туда, откуда дует ледяной ветер и гонит белые плавучие айсберги, где во мгле и туманах лежит таинственная Антарктида...

Алёша повернулся к карте и, разглядывая в самом низу её белый кружок, изрезанный заливчиками и бухточками, стал гадать, куда пристанет дизель-электроход и где будет зимовка.

За этим делом и застал его отец:

— Ты что ищешь?

Алёша вздрогнул, точно его застали на месте преступления.

— Да вот ищу, куда он пристанет,— наконец сказал он и покраснел.

— Не туда залез. Вот здесь, в районе Земли Королевы Мэри. Видишь? — Палец отца пополз по зубчатому краю белого пятна и остановился у небольшой бухточки.— А чего это тебя вдруг заинтересовало? — спросил отец, вытаскивая из кармана трубку.— И вообще, при чём тут Антарктида?

Алёша покусал губы, моргнул ресницами:

— Там уголь под землёй горит и делаются озёра.

Отец ударил трубкой по ладони и рассмеялся:

— Да это только предположение, так сказать — гипотеза... А вообще это материчок, я тебе скажу! Да... Ты, я вижу, кое-что уже знаешь...

И отец рассказал ему про шельфовые льды, которые медленно сползают в океан и превращаются в гигантские айсберги, и про снежные бури, и горные хребты Антарктиды...

Отец говорил долго, увлечённо и так подробно, словно перед ним был не девятилетний сын, а студенческая аудитория, но потом вдруг замолчал, чужими глазами посмотрел на Алёшу и быстро заходил по кабинету, задел ногой за край ковра, сбил его, но поправлять не стал.

— Ну, папка, ну чего ты...

— Хоть бы ты подрос скорее, что ли... А то и поговорить в трёх комнатах не с кем.

Отец тяжело вздохнул.

К вечеру вернулась мама. Глаза её возбуждённо блестели. Губы улыбались. Шляпка лихо сбита набок. Мама быстро сняла в передней шляпку, пальто и, поправив у зеркала волосы, весело влетела в столовую с большой кожаной сумкой.

На стол посыпались кульки с конфетами, вафлями, коробочка с вяземскими пряниками — отец очень любил пить с ними чай. А Алёша получил в подарок бычка, белого, с чёрными пятнами на лбу. Бычок был особенный: стоило его поставить на наклонную дощечку, как он, переступая по очереди всеми

ногами, медленно сходил на стол. Говоря честно, купи ему мама этого бычка года четыре назад, Алёша визжал бы от восторга, а сейчас уже не то... Но не будешь же маму обижать и недовольно кривить губы! Алёша заставил бычка столько раз проделать дорогу по дощечке, что отец отобрал его и, благодушно прихлёбывая чай с пряниками, сказал, что бычок устал и ему нужно дать отдых.

Чай они пили весело и шумно.

Мама носилась по комнатам, лёгкая и быстрая, и уже не хлопала дверями, не гремела стульями. Всё в их квартире стало как и раньше, до того неприятного спора,— уютно, мирно, светло.

Мама перестала читать на тахте толстые книги с жёлтыми страницами, пахнущими пылью и мышами, перестала, как капитан с корабельного мостика, отдавать приказания Надьке и вела себя, как рядовой матрос, и как-то раз даже крутила в мясорубке мясо. Она вылетала во двор за Алёшей, и он уже не въезжал в подъезд на подошвах сандалий: он охотно откликался и бежал домой.

Просто непонятно, что стало с мамой после того вечера. Наверно, она всё-таки поняла, что отца нужно отпустить в Антарктиду. Поняла, и ей самой от этого стало так радостно...

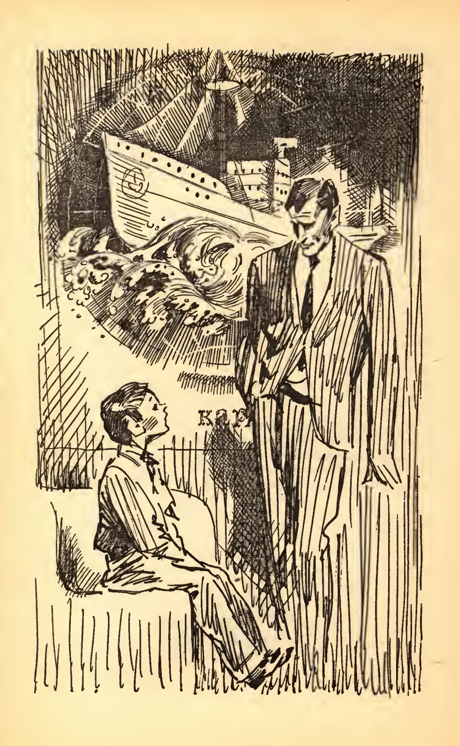
Шли дни. Алёша не тратил даром времени и деятельно готовился к экспедиции. Он тайком от матери начал обливаться в ванной холодной водой. Ежедневно обеими руками, сопя и краснея, выжимал пылесос и десять раз подтягивался на двери. Он даже сдружился с дворовым псом Мишкой, которого раньше боялся,— собака могла пригодиться.

Игорь и Серёжка, которые предали его тогда в дождь, больше не интересовали Алёшу. Какими ничтожными показались все их забавы и проделки по сравнению с тем огромным и таинственным, что надвигалось на Алёшу!

И вот однажды отец вернулся с работы позднее, чем обычно. Алёша смотрел на него и не узнавал. Утром ещё шутил, смеялся, а теперь как-то сразу потемнел, осунулся. Глаза погасли, плечи чуть-чуть ссутулились. И ступал он по ковру как-то приглушённо, неуверенно, словно был не у себя дома. Не говоря ни слова, он разделся и ушёл к себе в кабинет.

Алёша подошёл на цыпочках к двери кабинета и глянул в глазок замочной скважины.

Отец лежал на диване, заложив за голову большие руки с вспухшими венами, смотрел в потолок и, сжимая в зубах трубку, курил. Густой синий дым иногда закрывал лицо, отец не разгонял его, и дым медленно оседал на диван, на пол. Отец смотрел в одну точку, затягивался, выпускал дым...



Алёша осторожно толкнул дверь, вошёл, остановился у дивана:

— Ну что ты, папа?

— А... это ты, Алёша...— Отец слегка отвернулся и стал смотреть уже не на потолок, а на стену, обвешанную картами. Лицо какое-то пятнистое, щёки запали.

Холодок смутной догадки пробежал по Алёшиной спине. Он стоял у дивана и неподвижно смотрел на отца.

В кабинете стало как-то тесно, письменный стол и шкафы увеличились в размерах, а стены и потолок сдвинулись. За пеленой дыма расплывались корешки книг и карты. Дым начинал окутывать Алёшу. Его голова слегка закружилась.

— Не поедешь? — тихо спросил он.

— Не поеду...

В кабинете стало так тихо, что еле слышное металлическое тиканье маленьких часов на отцовской руке вдруг заполнило весь кабинет.

— А твоя Антарктида?.. Ты ведь так хотел...

— Хотел,— произнёс отец и рукой стал разгонять перед собой дым.— Мало ли чего человек хочет...

Отец устало сел, поднёс ладонь к голове сына, чтоб погладить его. Но рука так и не коснулась волос: Алёша отпрянул, выскочил из кабинета и, задыхаясь от подступающих слёз, бросился на улицу. Он больше не мог оставаться дома. Он не хотел видеть отца, не мог простить ему малодушия. Он, Алёша, своей жизни не пожалел бы, хоть сейчас уехал бы, только скажи... Эх, папа!

На улице дул сильный ветер, нёс пыль, обрывки газет, раскачивал высокие тополя и трепал синий матросский воротничок мальчика, прижавшегося лбом к холодной железной ограде. Дул ветер, и по небу медлительно и торжественно плыли облака, тяжёлые и грузные, как айсберги Антарктиды.

1956





ГАУПТВАХТА

У высокого берега Западной Двины перед строем «синих» медленно расхаживал Всеволод, размахивая треугольным флагом. С лыжами в руках слушали мальчики чёткий, отрывистый голос своего вожатого. Они готовились к штурму крепости, которую на противоположном берегу из снега возвели «зелёные» — шестиклассники другой школы. На стене этой крепости и нужно было водрузить флаг.

Мороз стоял свирепый. Даже тёплые валенки не могли уберечь ноги от холода. Ребята пританцовывали на снегу, подталкивали друг друга плечами, хлопали варежкой о варежку.

И вот, когда Всеволод уверенным юношеским баском отдавал последние распоряжения, в строю послышался вкрадчивый шёпот. Сперва он был тихий и осторожный, но с каждой секундой становился громче и назойливей.

— Чего лезешь не в своё дело? — шипел один голос.— Тебя не назначили, стой и не шебурши.

— А меня и назначать не нужно,— отвечал другой голос.— Слыхал, что Всеволод говорил? В разведку пойдут лучшие лыжники. А ты и стоять-то на лыжах не умеешь.

— Это я-то не умею?

А то кто — я, что ли?

— А ну повтори, что сказал...

— И повторю. Думаешь, ие повторю?

В строю «снинх» прнтнхлн. Все стали прислушиваться. Но спорщнкн уже ннчего не замечалн.

— Дурак ты, вот кто! — сказал одни нз инх, переходя с шёпота на полный голос.

— Это я дурак? — нзумнлся другой, переходя иа крик.— Ах ты, трепло несчастное!

Строй «снннх» сдвннулся, спорщнкн побросали лыжи и яростно сцепнлнсь.

— Сорокнн н Свнрндов! — прогремел чуть картавый голос Всеволода.— Прекратнть безобразне!

Но безобразне не прекратнлось. Наоборот, драка разгоралась всё пуще.

Оин пыхтелн, как медвежата, стаpалнсь свалнть друг друга, пннaлн ногамн н бодалнсь.

Наконец онн разлетелнсь в стороны, н Мнтька Сорокнн, более ловкнй, увернувшнсь от удара, как кошка прыгнул за ствол клёна. Грузный Юра Свнрндов, с красным, перекошеиным лнцом, броснлся вслед. Онн бешено закружнлнсь вокруг дерева.

Юра внезапно застывал на месте. Но Мнтька держал ухо востро и тут же останавлнвался как вкопанный.

— А иу давай, давай! — блестя зубамн, азартно вскрнкнвал Мнтька.— Быстрей поворачнвайся, тюлень!

Это был ннзкорослый, крепкнй, как дубок, мальчншка в коротком бобрнковом пальтеце с продранными локтямн. Пунцовое от мороза курносое лнцо его светнлось вдохновеннем дракн. Он был слабее, но превосходнл протнвннка в проворстве, и поеднног продолжался с переменным успехом.

Окончнлась драка внезапно: Мнтька, свернувшнсь в клубок, броснлся Свнрндову в ногн, н тот тяжело рухнул в сугроб. Подхватнв Свнрндова под коленкн, Сорокнн воткнул его головой в снег н сдёрнул с ногн валенок.

— Сорокнн! — Всеволод с снлой вонзнл в снег древко флага н замер на месте.

— Чего? — иеохотно отозвался Мнтька.

— Немедленно вернн Свнрндову валенок н ндн сюда!

Ребята сталн подымать Юру. Вывалянный в снегу, в одном правом валенке, он был разъярён н всё ещё лез в драку, но ребята крепко держалн его за рукн.

— Держн! — Мнтька небрежно швырнул валенок, поднял свон лыжн н леннвой развальцей подошёл к команднру.

— Ты это что?

— В разведку хочу.

— А какой был прнказ?

— Да он и маскироваться-то не умеет. В собственных ногах запутается. Дылда несчастная!

— Я тебя спрашиваю: какой был приказ?

— Ну, был идти ему...

— А кто тебе дал право оспаривать военный приказ? Кто, я спрашиваю!

— Да я думал...

— Отставить! — Всеволод нервно потёр перчаткой щёку и громко, чтобы слышали все ребята, отчеканил: — За нарушение воинской дисциплины налагаю на тебя взыскание: трое суток гауптвахты. Немедленно пойдёшь в школу и будешь помогать девочкам делать ёлочные украшения... Ясно?

Мальчики, окружившие Митьку, переглядывались. Многие из них испытали на себе беспощадную строгость Всеволода, но до гауптвахты дело ещё не доходило. Даже Юра перестал вырываться из рук ребят и успокоился: эта мера наказания вполне устраивала его.

Митька молчал и ковырял носком валенка снег. Выбыть сейчас из игры — это был удар, которого он не ожидал.

— Слушай, Сева,— мягко сказал заместитель командира Коля Ерохин, губастый парень с круглым добрым лицом,— он, конечно, трёх суток заслуживает, вполне заслуживает, но, понимаешь ли, учитывая обстановку, мне кажется, можно ограничиться более мягким взысканием. Я бы лично не удалял его из подразделения в то время, когда начинается штурм. Нельзя забывать, что штурм будет очень трудный, потребует всех наших сил и каждая боевая единица...

Ребят словно прорвало — вот были те слова, которых они ждали, но не решались высказать вслух.

— Верно! Верно! — зазвучали голоса.

— Он все подходы к крепости знает!

— Оставить Митьку! Оставить!

Всеволод непреклонно смотрел на ребят и молчал, пока не улёгся шум. Выждав паузу, он металлическим голосом сказал:

— Мы никому не позволим деморализовать наши боевые ряды. Знаете ли вы, с чем это граничит в военное время? Знаете, я вас спрашиваю?

Ребята опустили глаза, замолчали. С Двины пронзительно задувал ветер, леденил щёки и руки, постукивал обледеневшими ветками клёнов.

— С предательством! — жёстко закончил Всеволод.

— Врёшь! — сорвавшимся голосом закричал Митька и, сжимая кулаки, огляделся, ища поддержки у ребят.

Но ребята молчали: кто смотрел в небо, кто возился с креплениями на лыжах, кто усиленно дул в варежку. Тогда, облизнув кончиком языка пересохшие губы и поглубже нахлобучив

ушанку, Митька медленно стал вынимать палки нз лыжных ремией.

— И никакого прощения человеку? — робко спросил чей-то простуженный, с хрипотцой голос.

— Приказ обжалованию ие подлежит,— отрезал Всеволод.— Сорокин, можешь идти.

— Ну что ж,— сказал Митька, сунул носки валенок в ремни, туго затянул на пятках заржавевшие пряжки н добавил: — Ещё вспомнnте Дмитрия Сорокииа...

— Таких солдат нам не нужно.

— ...но будет уже поздно.

— Кругом... шагом марш!

Митька подпрыгнул, громко хлопиув лыжами о снег, задвигал валенками, проверяя прочность креплений; потом выпрямился, грудью упёрся в палки...

— Ну и чёрт с вами! — Митька оглушительно свистнул, вонзил в снег палки, оттолкнулся и исчез за краем обрыва.

Толкая друг друга, ребята бросились к обрыву. Заросший кустарником н деревьями, он тремя огромными террасами уходил глубоко вниз. Ни один ещё лыжник, даже взрослый, не решался съехать с такой головокружительной высоты.

Низко пригнувшись, держа иа весу палки, Митька неудержимо мчался вниз — нет, не мчался: падал! — стремнительно объезжая кустнки ивняка и старые промёрзшие нвы, и было непостижимо, как успевает он на такой бешеной скорости управлять лыжами. Вот его малеиькая фигурка в бобриковом пальтеце нырнула в узкий пролёт между деревьями, выскочила на пологий сугроб и внезапно провалнлась за грань нижней террасы...

Не дыша, с жутким холодком в сердце, с каким ожидают несчастья, смотрели ребята вниз.

Секуида — и Митька выиырнул из-под землн и, упруго подпрыгивая на горбах и колдобиинах, поиёсся к реке. Сила разгоиа доиесла его до середииы Двииы.

— Вот это да! — с восторгом выдохнул кто-то.

И ребята шумно заговорили, обсуждая спуск.

— Какого человека прогнали, а! — назойливо раздавался всё тот же простужениый, с хрипотцой голосок, сея сомиеиия в справедливости командирского приказа.

Но лицо Всеволода, сухое, неподвижное, с сомкнутыми в тоикую черту губами, ничего не выражало. Отойдя от обрыва, ои велел строиться, словно ничего не произошло.

— Правда, здорово съехал, а? — приставал к Всеволоду всё тот же мальчишка с простужеииым голосом.

Но командир только нетерпеливо махиул рукой, и ребята нехотя стали собираться в строй.

Крошечная, не больше подсолнечного семечка, фигурка двигалась по Двине в сторону неприятельской крепости.

— Отставить разговоры в строю! — крикнул Всеволод.— Рядовой Свиридов, выполняйте приказ!

Подхватив под мышки лыжи, Юра по узкой тропинке стал осторожно спускаться с обрыва, с того самого обрыва, с которого так лихо съехал проштрафившийся Митька. Юра слезал боком, опираясь на палку и выставлял вперёд ногу, ощупывая снег.

А тем временем Митька размашистым шагом шёл по лыжне, сильными толчками посылая вперёд своё крепкое, мускулистое тело. Задние концы его лыж громко постукивали по твёрдой колее, и встречный ветер студил разгорячённое лицо. Голубоватый наст, весь в синих пятнах следов и вмятин, разноцветно искрился под декабрьским солнцем, над холмами и далями струился прозрачный морозный парок. Но Митька не замечал красоты зимнего утра. Он шёл вперёд и вперёд, словно хотел убежать от ещё звеневшего в ушах тяжёлого слова — предательство.

«И без них проживу,— думал он.— Затеяли дурацкую игру с этой крепостью! Тоже мне разведчик! Оглобля несчастная!»

Всё дальше и дальше гнал Митька без всякой цели по Двине. Он оглянулся. Возле пристани, вмёрзшей в лёд, он увидел знакомую долговязую фигуру Свиридова. «Идёт на выполнение задания!» — понял Митька, и что-то легонько кольнуло его в сердце.

Юра шёл к устью небольшой речушки Петлянки, где «зелёные» возвели свою крепость. Несмотря на большой рост и неуклюжесть, Юра шёл легко и уверенно — этого не мог не видеть опытный глаз Митьки. «Старается,— подумал он, испытывая жгучую зависть, и с недобрым чувством отметил, что Свиридов идёт по целине открыто, в полный рост, не скрываясь.— Дурачина! В два счёта застукают».

Чтобы лучше видеть, как Юру будут брать в плен, Митька решил зайти «зелёным» в тыл. Правда, для этого надо будет дать хороший крюк, ну так что ж... Такое удовольствие он не мог упустить.

С километр пробежав по берегу, он «ёлочкой» взобрался на откос. Долго ехал возле тротуаров по кривым улочкам и проулкам. Потом, не снимая лыж, перелез через невысокую изгородь и пошёл в обратном направлении.

Теперь Митька был начеку: здесь начиналась территория «неприятеля», и он каждую секунду мог наткнуться на «зелёных». Возьмут в плен как лазутчика — и крышка! Не будешь же им объяснять, что «синие» за драку изгнали тебя из своей армии.

Начался глухой забор. Митька пошёл под его прикрытием. Заглянул в широкий пролом: вниз уходили заснеженные огороды с волнистыми гребнями грядок и рыжими стволами подсолнечника, торчавшими в небо, как зенитные пулемёты. В самом низу, у старых кряжистых верб, копошились тёмные фигурки — «зелёные». Митька повёл ноздрями. Крепости он всё ещё не видел.

Быстро сняв лыжи, он лёг на них и, взяв в одну руку палки, другой стал отталкиваться. Снег залезал в варежки, забивался в рукав, но Митька упорно полз вперёд, скрываясь за кустиками и бугорками. Возле заиндевевших липок он спугнул стайку снегирей и немного отдохнул — неподвижно полежал в снегу, прислушиваясь к голосам «зелёных», которые звучали всё ближе.

Ещё несколько толчков руками — и из-за старых верб показался угол крепости. Теперь уже можно было разобрать отдельные слова. Ребята наливали в вёдра воду из водопроводной колонки и по вырубленным в снегу ступенькам носили к крепости.

Ноздри у Митьки расширились, воротник рубахи стал тесен — душно! Он втиснулся меж двух сугробов и замер. Шевельнись неосторожно — заметят! Сердце заработало частыми, гулкими ударами. Нет, он не уйдёт отсюда, пока не разглядит крепость... Не уйдёт!

И вдруг он заметил в стволе огромной серой вербы, невысоко над землёй, большое, длинное дупло. А что, если забраться в него? Митька зарыл в сугроб лыжи с палками и, вжимаясь в снег, по-пластунски пополз к вербе. И когда тропа с водоносами на минуту опустела, Митька метнулся к дереву. Схватился за корявый сук, подтянулся на руках и, закинув ногу, вскарабкался и сел. Затем пригнулся, сунул в отверстие ноги и с силой вдавил своё тело в дупло.

Под ногами что-то захрустело, и он по самые плечи погрузился в ствол. Голова ещё торчала наружу, и ребята, возвращавшиеся с водой, могли заметить его. Митька бурно заработал ногами. Трухлявая сердцевина вербы поддалась, и он ещё опустился. Древесная труха посыпалась в глаза, набилась в уши. За воротник упала разбуженная холодная козявка и поползла по спине, перебирая цепкими ножками. Митька брезгливо поморщился, всё тело передёрнула судорога, и он от резкого движения ещё ниже погрузился в ствол. «Чтоб только глубже не ухнуться»,— с тревогой подумал он и вдруг замер: вблизи послышались хруст снега и мерное поскрипывание ведёрных дужек.

— Теперь снизу нас не возьмёшь!— отчётливо сказал кто-то.

— Неприступная!— подтвердил другой.

Голоса удалились.

Митька ухмыльнулся: идут и не знают, что он сидит в двух шагах от них и всё слышит!

Жаль только, дупло выходило в сторону, противоположную крепости, и ничего интересного Митька не видел. Он сразу стал искать выхода. Костяшками пальцев он простучал стенки дупла. По звуку определил, что в одном месте стенка тонкая. С трудом втиснул в карман руку и вытащил складной нож.

В дупле было тесно, локтям негде развернуться, но всё же Митька ухитрился кое-как продолбить в древесине узкую щёлку для глаз. «Как смотровая щель в танке»,— подумал он и глянул в неё.

За береговым уступом, там, где Петлянка впадала в Двину, выслалась грозная, похожая на средневековый замок крепость. Массивные зубчатые стены, круглые угловые башни с узкими прорезями бойниц — всё это было сделано добротно, прочно. Ребята, гремя вёдрами, всё ещё поливали наружные стены и дальние подступы к крепости. Мороз был такой сильный, что вода, не докатываясь донизу, густела, замерзая и блестя на солнце, как стекло.

«Вот это работа!— с невольным уважением подумал Митька.— Интересно, как её «синие» штурмовать будут? Кричать «предательство»— одно, а вот взбираться на этакую стену с флагом — это совсем другое дело!»

Митька даже обрадовался, что не будет участвовать в штурме — попробуй заберись-ка вверх без специальных топориков! Ну и будут же потом «зелёные» насмехаться — до самого лета не забудут!

В щёлку Митька увидел командира «зелёных» Михаила Рыбакова, худощавого рослого парня в вязаной спортивной шапочке; голова у него была маленькая, казалось, не больше кулака. Михаил подозвал к себе толстого мальчишку в белых бурках. Митька знал его в лицо: с делегацией парламентёров неделю назад он приходил в школу договариваться об условиях игры. Показав на Митькину вербу, Рыбаков что-то повелительно сказал.

Неужели заметил? Всё похолодело внутри у Митьки, когда он услышал, как мальчишка в бурках, хрустя корой и тяжело сопя, стал взбираться на дерево. Может, спрыгнуть вниз и убежать, пока не поздно? Но как быть с лыжами? Отыскать и надеть их не успеешь. А без лыж поймают в два счёта: ведь их человек пятьдесят! Да и жаль, если пропадут: не пять копеек стоят!

Митька крепче вжался в глубь дупла, втянул в плечи голову, перестал дышать.

В ствол возле самого уха ударила нога. Митька зажмурился, сжал зубы. Нога ударила выше, и Митька чуть успокоился: не обнаружили! И сразу сообразил, в чём дело: громадней этой вербы нет вокруг дерева, и взобраться на неё легче всего — сучья растут друг возле друга. Лучшего наблюдательного пункта не найдёшь. Вот и послали этого мальчишку наблюдать за местностью...

И жутко и весело стало Митьке: разве это не здорово — на одном и том же дереве сидят два враждебных разведчика-наблюдателя!

Митька опять прильнул к щели.

Стены уже были облиты, и солнце сверкало на ледяных гранях крепости. Митька перевёл взгляд на реку. Странно: куда подевался Юрка? В плен он не попал — Митька увидел бы, как его со связанными руками ведут в крепость. То шёл не прячась, а то исчез бесследно, как в прорубь канул. Наверно, удрал. Ну конечно, чего ещё от него дождёшься!

Мороз усиливался. Пальцы ног и рук наливались холодом, нос и щёки становились чужими, словно из них ушла вся кровь. Хотелось попрыгать, побить ногу об ногу, но попробуй попрыгай в такой тесноте! Единственное, что ещё можно было,— это шевелить пальцами ног и рук. Но пальцы деревенели и не слушались.

Митька стал горячо дышать в стенку дупла, и тёплый воздух, возвращаясь, немного согревал щёки. Но скоро Митька выдохся, и мороз с новой силой набросился на него, всё глубже запуская свои когти под пальтецо. Снег, попавший в валенки, растаял, и вода застывала, сводя холодом пальцы.

Но Митька терпел. Стоял и терпел.

Замлевшие ноги подкашивались, голова наливалась тяжестью, но он встряхивался и по-прежнему остервенело двигал пальцами. И по-прежнему смотрел в щель.

Вспомнилась школа, тёплый класс, где девочки ножницами вырезают из хрустящей глянцевитой бумаги флажки и гирлянды к ёлке и где он должен был отбывать гауптвахту. Потом мысли перенеслись домой, в небольшую комнатушку в полуподвале, где он живёт с матерью, дворничихой. Что она делает сейчас? Наверно, чистит картошку и бросает белые картофелины в большую кастрюлю. Чистит она очень быстро и очень аккуратно: из-под ножа выползают тонкие-тонкие ленты кожуры. И снег с тротуара мать тоже сметает очень быстро. Жаль только, совсем старая стала — половина волос седых, а сама худая, как девчонка... Трудно без отца. Зря он нагрубил ей вчера. Даже заплакала, а он ещё кричал на неё: денег на кино пожалела. Эх, ну и дурак же он! Наверно, правильно говорят, что характер у него невыносимый. Сейчас



бы хорошо дома посидеть да горячей картошки пожевать.

И вдруг Митьке вспомнилнсь слова: «За нарушение днсцнплины трое суток гауптвахты...» Эх, Всеволод, ие знаешь ты, что это дупло хуже всякой гауптвахты... Настоящнй карцер!

Время шло. Митька, заледенев от стужи, иавытяжку, как прнговорённый, стоял в дупле.

— Эй, Алнк, как там?— донёсся из крепости простуженный голос Рыбакова.

— Пока не видио!— отозвалось над Митькиной головой, и пушнстый ворох снега пролетел возле смотровой щели.

— Гляди с дерева не свалнсь.

— Не свалюсь.

Прошли ещё полчаса, томительные, медленные, тягучие. Митькины веки отяжелели, тело налнвалось мягкой истомой, перед глазамн всё поплыло, словно смотрел ои через бегучую прозрачную воду Неведомо откуда перед ним вдруг выплыло лицо Юры, вытянутое, разъярённое, с побелевшими от гнева глазамн. Мнтька вздрогиул и замотал головой. «Кажется, засыпаю,— подумал он. И ие найдут потом в этом дупле. Гроб, а не дупло!»

Но Мнтьке не суждено было замёрзнуть. над его головой раздался истошный вопль.

— Идут, идут!

Митька прнпал к щели. В лагере «зелёных» началась суматоха. Поспешно бросая вёдра, ребята с криками стали сбегаться к крепостн. Мальчишка в лохматой медвежьей шубе, заливавший нижние подступы, скользил по льду и никак ие мог взобраться на горку. Жалобно взывая о помощи, он растерянно бегал внизу и размахивал пустым ведром. Беднягу никто не замечал.

— Миша!— надрываясь, кричал с дерева Алнк.— А какой будет мне приказ?

Ему ннкто не ответил. Крепость лихорадочно готовилась к отражению штурма. Из неё доносились команды, хриплые крнкн, перебранка. Сопя и ругаясь, иаблюдатель, так и не дождавшнсь разрешения высшего командования, полез внна.

— А ну скорей сматывай удочки, пока жнв!— прошептал Мнтька и, когда, слезая с вербы, мальчишка в бурках очутился возле дупла, ткнул его закоченевшей рукой в ногу

Но наблюдатель, занятый спуском, ннчего не заметнл. Мнтька выглянул из дупла. То, что он увидел, захватило его душу

Растянувшнсь длннной цепью по Двнне, «синне» быстро приближались к крепости. Вот онн пересекли лыжню у берега,

перевалили через глыбы колотого льда, через сугробы, недавно иаметёиные.

Эх, иу и красота! Митька бурио задвигал плечами, заработал пальцами, словно сам сжимал палки и иа лыжах лихо мчался по реке, чтобы взять штурмом эту иеприступную крепость. Уже можио было различить отдельиых ребят. Вои Коля Ерохии, коренастый, как старый казак, в чёрной бурке и кубаике, сбнтой на затылок. Вои малеиький Димка, без шапки, быстро перебирает лыжами — где-то посеял, растяпа! Но Всеволода средн иаступающих нет, нет н ещё миогих. Наверио, задумалн какой-то манёвр.

Между тем лыжиикн подлетелн к обрывистому берегу и, толкаясь, иаступая друг другу иа лыжи, стали взбираться вверх. Но крепость безмолвствовала: из «зелёных» ие было вндио ни души.

Митька насторожился.

Лыжи загремели об лёд — это «сииие» были уже иа подступах к крепостн. Наиболее упрямые делалн отчаянные усилия, стараясь палками высечь ступеиьки. Но иапрасио: крепость для лыж была неприступиа.

— Спешиться!— доиеслась комаида Ерохина.

Ребята сбросили лыжи и, опираясь на палки, стали взбираться по крутому склону.

И тут случилось иеожиданиое: из специальных крепостиых ворот, как боевые слоиы, стуча и подпрыгивая, вииз покатились громадиые снежиые ядра. Лёгкий удар — н «синие» срывались н кубарем скатывались вниз. Дружный хохот раздался в крепости.

— Ур-р-р-ра! За миой! На приступ!..— надсадио кричал Ерохин, размахивая палкой, словио копьём, и снова бросился на штурм.

Ребята карабкались вверх, падали, отбрасываемые снежными бомбами, но сиова и сиова, как муравьи, ползли иа штурм вражеской крепости. Вои кто-то иа лыжах подвёз ящик с золой, ребята стали хватать горстями золу и разбрасывать её по гладн льда. Суворов и Скобелев, водившие когда-то солдат иа штурм сиежиых вершии, сказали бы сейчас ребятам: «Молодцы!»

Больше Митька не чувствовал холода.

— Так, так!— кричал он, силясь вылезти из дупла.— По одиому! Заходи с флаигов! Эй ты, шляпа, ие мешайся на дороге! С тыла заходи, с тыла! Ну-иу, ещё разок! Ещё! Не падай духом, братва! Вперёд! У-р-р-р-а!

Шум у крепостиых стеи стоял невообразимый. А Митька всё больше и больше разгорался. Он бешено колотил в стенки своего укрытия, прелая сердцевииа вербы стала



оседать глубже, и мальчишка ещё на полметра въехал внутрь ствола.

Это была катастрофа...

Смотровая щель очутилась над головой. Он был со всех сторон зажат в затхлую темницу, и крики штурма едва просачивались сюда. Митька заплакал злыми слезами. Он упёрся ногами в бугорки каких-то выступов и, до крови царапая щёки, с трудом перевернулся лицом в обратную сторону. Потом вцепился в край дупла и рывком подтянулся вверх.

Со стороны огородов прокатилось новое яростное «ура». Чётко выделяясь на фоне снега, человек пятнадцать «синих» катилось сверху. Впереди, размахивая треугольным флагом, в оранжевом лыжном костюме мчался Всеволод. За ним большим маховым шагом нёсся Юра — полы его длинного пальто отлетали в стороны, как крылья. «Неужели Юрка разведал и повёл их с тыла?»

Человек двадцать «зелёных» бросилось к ним наперерез из крепости. В воздухе замелькали снежки. Снизу снова пошли на штурм крепости. И новое «ура» разнеслось над огородами.

Защищались осаждённые отчаянно. На Всеволода насело пятеро «зелёных» — облепили, смяли, повалили. Пыхтя, выдыхая клубы пара, они выкручивали ему руки, пытаясь вырвать

сосновое древко. Всеволод отбивался, отцеплял руки нападающих, мёртвой хваткой держался за древко. Тогда «зелёные» за древко поволокли его по снегу к крепости. На них налетел Юра. Он рычал, лягался, бил головой и наконец всё-таки вырвал флаг и бросился к крепостной стене. Наперерез ему выскочили трое. «Зелёных» уже не было в крепости — они все высыпали наружу. Завязалась рукопашная. Атака захлёбывалась.

Отбиваясь от «зелёных», охрипшим голосом Юра кричал что-то своим, но «синие», сцепившись с противником, словно забыли про флаг.

Что ж это, что ж это такое!

Напрягая мускулы рук, Митька вытянул из дупла своё тело и, прицелившись, с толстого сука, как рысь, прыгнул в снег.

Метнувшись к Юре, он растащил вцепившихся в него «зелёных», выхватил древко и огромными скачками бросился к опустевшей крепости. Свежая, застоявшаяся сила, как скрученная пружина, распрямилась в нём. Оторвав Митьку от земли, она легко подняла его в воздух и бросила на передний бастион.

Не прошло и минуты, как он уже стоял в полный рост на широком зубчатом гребне и, потрясая в воздухе руками, во всю силу своих лёгких кричал что-то оглушительно бессвязное, ликующее. Глаза его блестели, по щекам катились слёзы, шапка слетела в снег, а он стоял на гребне бастиона и, задыхаясь от восторга, кричал. Потом с размаху вонзил древко в плотную корку льда. Налетел ветер, и треугольный флаг с белой цифрой «десять» — номер школы — захлопал на древке.

Вокруг всё ещё продолжался бой: раздавались крики, хруст снега, свист и смех, хотя всё это уже было бесполезно: флаг трепетал на стене, крепость пала...

— Так вот ты где,— холодно сказал Всеволод минут через десять, в упор рассматривая Митьку.

Лицо командира, ещё пылавшее от боя, было уже бесстрастно и замкнуто. Он долго не говорил ни слова.

Митька топал окоченевшими ногами, дул в варежки, моргал белыми ресницами — наконец-то можно подвигаться! Он весь посинел, но в уголках его губ по-прежнему таилась усмешка. И во всей его аккуратно сбитой, ловкой фигурке чувствовались неуступчивость и вызов.

Со всех сторон набежали «синие», окружили их криком, гамом, смехом, кашлем, свистом.

Ребята дёргали Митьку за руки, совали сахар с прилипшими хлебными крошками, недоеденные бутерброды, а кто-то

попытался сунуть и папиросу, но, оглянувшись на вожатого, поспешно спрятал.

Такой встречи Митька не ожидал. Сквозь его красные, нахлёстанные ветром щёки проступал густой румянец смущения, а глаза беспокойно бегали по сторонам.

— А ещё брать не хотели,— звучал простуженный, с хрипотцой голос Женьки Хвостикова, дружка Митьки.— Только людьми бросаются.

— А ну, тише!— грозно сказал Всеволод. Гам смолк. Командир осмотрел ребят, и его взгляд остановился на Митьке.— Уши потри, вояка...— Но тут же его голос осекся.— Прошу построиться.

Заложив за спину руки, Всеволод прошёлся вдоль притихшего строя. Потом притоптал каблуком снег и вскинул голову. Установилась такая тишина, что, кажется, слышно было, как в висках у ребят стучит кровь. Какое ещё новое жестокое наказание придумает Всеволод?

— Повторяю приказ по армии,— прозвенел в морозном воздухе его чёткий, металлический голос.— За нарушение воинской дисциплины на рядового Сорокина Дмитрия наложить взыскание — трое суток гауптвахты. Приказ обжалованию не подлежит. Всё.

Ребята вздохнули. На переднем бастионе опустевшей крепости захлопал на ветру синий треугольный флаг...

А Митька весело подмигнул ребятам и побежал раскапывать свои лыжи.

1955





ГРАНИЦА

Всю жизнь я прожил среди русских людей и только здесь, в далёком ненецком стойбище Малоземельской тундры, почувствовал, что значит жить среди людей другого языка.

Я вставал, мылся из рукомойника, усаживался за низкий столик завтракать, вокруг меня звучала нерусская речь, и я ничего не понимал в ней. Она звенела возле самого моего уха, то воркующе весёлая, то гортанно резкая, сердитая, то спокойно-плавная. Но для меня она ничего не значила. Её понимал годовалый мальчишка, едва державшийся на кривых ножках, и полуглухая древняя старуха, тоже едва стоявшая на ногах, даже собаки и те, кажется, понимали отрывистые окрики.

Я же был в глупейшем положении. Я сидел с ними за столиком, ел оленье мясо, пил чай и по лицам пытался догадаться, о чём они, чёрт побери, говорят...

Они говорили быстро, энергично, иногда, подкрепляя сказанное резким взмахом руки, иногда захлёбываясь от смеха, иногда темнея от злобы.

Лишь я один не мог разделить ни их радостей, ни их горестей. Я сидел, равнодушный ко всему, и занимался самым презренным делом: ел да пил. Что я мог ещё делать? Правда,

когда все за столиком безудержно хохотали, трудно было сохранить спокойствие на лице. Но все мои улыбки или даже смешки скорее говорили о желании войти в их жизнь, чем о поддержке или осуждении того, что обсуждалось в чу́ме.

— Чего это вы так смеётесь? — спрашивал я иногда у бригадира Ардеева.

И он объяснял мне по-русски, что пастух соседней бригады, Панкрат, нечаянно заснул ночью; олени, испугавшись выскочившего из-под куста зайца, рванули и опрокинули его вместе с нартами в яму с водой, и он, сонный, нахлебался болотной грязи, едва вылез оттуда и добрался до стойбища. Рассказывал пастух очень смешно. Все ненцы давно уже вытерли глаза, смеялся я один, и этот запоздалый смех тоже, верно, казался не очень уместным.

Я часто спрашивал у ненцев, о чём они говорят, но постоянно приставать к ним с расспросами было неловко, и я терпеливо ждал, когда ненцы сами найдут нужным рассказать мне о том или ином случае.

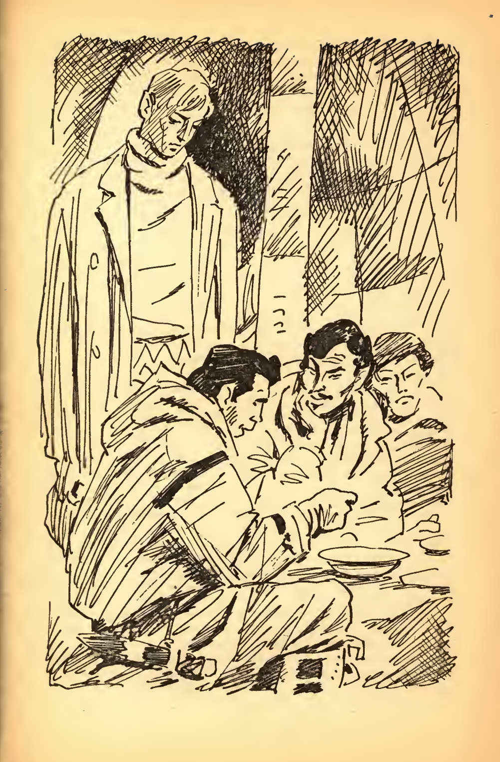
Когда я был один со своим хозяином, он без умолку сыпал по-русски, но стоило среди нас появиться хоть одному ненцу, как они заговаривали по-своему, и мне не оставалось ничего другого, как гадать по их лицам и отдельным понятным словам, о чём они говорят. Если в их речи повторялись слова «тынзей», «важенка», «пелей»,— значит, говорили они об оленьих, пастушеских делах; если в их речи встречалось слово «универмаг»,— верно, говорили об универмаге в Нарьян-Маре, где можно купить сукно для узоров на паницы и меховую обувь, рубахи и бельё.

И всё же я чувствовал себя иностранцем в этом стойбище. Невидимая граница пролегла между мной и этими людьми — людьми другого языка, и я не знал, как её стереть, переступить, как очутиться с ними в одном мире.

Вначале я даже обижался: ну что им стоит говорить при мне по-русски? Ведь это, в конце концов, невежливо — изъясняться так, что один из присутствующих ничего не понимает. Но скоро я понял, что обижаться не на что. Ведь они ненцы: когда они говорят на своём языке, им не нужно напрягаться, подыскивать нужное словечко. Зачем же им мучить себя? Обо всём, что касается меня, они охотно говорят по-русски...

И всё же я чувствовал себя довольно скверно. Между ними и мной пролегла граница. И вскоре мне это надоело. Я решил стереть её.

В свободное время я подсаживался к ним и рассказывал о самом интересном, что довелось видеть: о Падунском пороге на Ангаре, где строят крупнейшую в мире ГЭС, о



рыболовецких тральщиках Баренцева моря, о горняках Кировска и матросах подводных лодок.

Слушали ненцы внимательно, ахали и охали, покачивали головой и хохотали. И говорили при мне только по-русски. Но скоро речь с горняков и подводных лодок сползала на тундру, на олений мох — ягель и рыбную ловлю в озёрах, и постепенно в их языке всё меньше становилось русских слов, и кончалось тем, что я тупо смотрел на их губы, на блеск разгорячённых глаз и решительно ничего не понимал.

Я хлопал дверью и выходил из чума, собирал на пригорке голубику, клал в рот упругие сочные ягоды и думал, как стереть эту ненавистную, разобщающую нас границу. «Наверно, я всё-таки не очень внимателен к ним,— подумал я.— Они люди дела, и никакими россказнями не завоюешь их расположения и доверия...»

С этого часа я повёл себя по-другому. Сознаюсь честно, я просто решил понравиться хозяевам чума, в котором жил. Я с подчёркнутым вниманием смотрел им в глаза, часами возился с их ребятишками, по вечерам, при свете керосиновой лампы, читал вслух прихваченные с собой рассказы Чехова, а когда в подвешенной к шестам люльке начинал орать младенец, долго раскачивал её, строил рожицы, щёлкал пальцами, издавал нечленораздельные, фантастические звуки.

На младенца это чаще всего действовало, хозяйка смотрела на меня благодарными глазами и, как я это чувствовал, во время обеда говорила обо мне мужу. Ардеев поглядывал на меня своими лукавейшими раскосыми глазками, улыбался, и слабая надежда перешагнуть разделяющую нас границу потихоньку разгоралась во мне.

Я лез из кожи вон. Мне самому уже претила собственная доброта. Ненцы всё чаще и чаще подходили ко мне и расспрашивали о Москве, о Выставке народного хозяйства и ягельных пастбищах в Кольской тундре. Но вот наступало чаепитие, и опять меня окружали за столом незнакомые слова, непонятные улыбки. Я сидел с постным лицом и всё на свете проклинал.

«К чёрту всё это! — решил я и ушёл из чума.— Не хотят, чтоб я понимал их,— и не надо. Может, так им выгодней: подтрунивают надо мной, а я и не знаю; скрывают от меня незавидные дела в бригаде, боясь, что я напишу об этом». Я сидел на нартах и думал, что делать, как вести себя дальше.

В это время мужчины вышли из чума и поехали в стадо. Вскоре внутри раздался детский плач. Может, хозяйки нет в чуме, а ребёнок вывалился из люльки? Я просунул в дверь голову. Хозяйка вынула из люльки дочку и, баюкая её на руках, что-то напевала. У печки стояли два пустых ведра.

— Капризиичает всё? — спросил я.

— Купать пора,— ответила мать.— Сама понимает, что купать пора.

Я взял вёдра и пошёл к озеру.

— Зачем принёс? — сердитым вопросом встретила меия хозяйка.— Сама справлюсь.

Я хорошо знал, что оиа со всем справляется сама, но ценой чего? С пяти утра до одиннадцати иочи снуёт она по чуму, готовит еду, кормит взрослых и детей, вытряхивает шкуры, моет грязные латы, шьёт из оленьих шкур одежду и обувь, рубит и носит хворост для печки и воду.

Хозяйка налила в большой котёл воду, поставила его на огнеиный круг печки и подбросила в дверцу ворох мокрых сучьев. Дров в чуме оставалось мало.

— Где топор? — спросил я.

Она кивиула иа ящик, стоявший у входа.

Я взял топор и пошёл к зарослям карликовой ивы и берёзки; другого топлива в этих местах нет. Я иарубил большую охапку, перевязал куском старого тынзея и взвалил на спину. С трудом втащив вязанку в чум, я вывалил её у печки и, зная, как быстро сгорают эти дрова, пошёл за иовой вязанкой. Я рубил топором тонкие деревца и кустики и думал: пора кончать игру, бродить возле иих с блокнотом и записывать всё! Хватит упрашивать их изъясняться со миой по-русски! Попробую на собственной шкуре почувствовать, что такое иенец, как ему работается и живётся. А потом уеду. Попробую и уеду.

Когда я приволок иовую кучу хвороста в чум, хозяйка иакричала на меня:

— А жить где станем? Чума ие хватит. На дворе оставляй.

Я оставил хворост «на дворе» и бросил мокрый топор в ящик.

К вечеру в чум вернулся Ардеев с пастухом. Пока на печке закипал чай, жена о чём-то по-ненецки говорила мужу. Я порядком устал, сушил у огня портяики, потому что кирзовые сапоги оказались никуда не годными и промокали даже от обильной туидровой росы на травах и кустарииках. Я устал, и мне ие было никакого дела, о чём они там говорят. Пусть говорят о чём хотят, пусть смеются, ругаются, сходят с ума — какое мие дело? Ни слова больше не попрошу перевести.

— Иди пить чай,— сказала хозяйка.

— Сейчас...

Я досушил вторую портянку, по холодным латам на пятках подошёл к столу и уселся иа иизенькую скамеечку — она, как и столик, была карликовая. Пастух что-то спросил у бригадира по-своему. Ардеев ответил ему по-русски:

— Хорошо. Я тоже заметил двух оленей с копыткой. Придётся забить их.

Я втыкал вилку в куски мяса и молча ел.

Пастух опять что-то спросил по-неиецки, и бригадир снова ответил ему иа языке моего народа, на языке той земли, откуда я приехал в их тундру. Я не верил своим ушам. Я не спешил верить им. Может, это случайно? Или вдруг что-то произошло?

В люльке сам с собой разговаривал ребёиок, собака стучала когтями о латы, вилки скрежетали о дно миски, а посреди чума торжественно и решительно гудела печка, полиая хвороста, печка, в которой, как скоро я понял, догорала последняя граница, разъединявшая нас.

1959





ТРЕТИЙ ПЕЛЕЙ

Я жил в чуме бригадира Ардеева, и с каждым днём всё ближе становились мне тундра и люди, веками кочующие по ней. Я многое видел своими глазами, но есть вещи, которые случаются редко, и, чтобы знать их, надо годами жить с ненцами. И всё же я кое-что узнал, потому что мой хозяин оказался на редкость словоохотливым и доброжелательным человеком.

Он помнил тысячи случаев из своей жизни, сказок, обычаев; он весь прямо-таки был набит шутками и присловьями. И, честное слово, каждый его рассказ был для меня откровением. Жаль только, поговорить с ним удавалось редко: с утра до ночи ездил он по тундре — то выискивал пастбища, то инструктировал пастухов, то сам дежурил в стаде. В чуме я почти не видел его.

Вот почему все наши разговоры проходили в открытой тундре, на бегущих нартах. Он сидел у передка, спиной ко мне, держа в одной руке вожжу, в другой — хорей; я усаживался сзади, с правой стороны нарт,— стараясь не мешать ему, и голос его не умолкал.

Временами свой рассказ он прерывал гортанным, подстёгивающим оленей возгласом «Охэй!», иногда, если мы подъ-

езжали к глубокому болоту, он соскакивал с нарт, бежал вперёд, измерял хореем глубину, сожалеюще цокал языком, и мы по скату сопки далеко объезжали болото. Он продолжал рассказ точно с прерванного места. Нас поливал дождик, сек по лицу крупный осенний град, я болезненно ёжился, а он как ни в чём не бывало говорил и говорил... Он был неистощим, и запаса его энергии и жизнелюбия хватило бы на десяток людей.

Стараясь особенно не надоедать ему, я всё же не терял случая попасть на его нарты.

Вот и сегодня мы ехали с ним в стадо, и навстречу нам мчались карликовые берёзки, холмики, болотца... Ардеев говорил и одновременно хлестал вожжой по боку передового, иногда устрашающе кричал и тыкал хореем в крупы остальных пелеев, посылая их через высокие заросли осоки и камыша.

Он удивительно хорошо правил упряжкой, выбирал единственно верный путь, потому что в тундре нет дорог и всякий раз приходится выбирать её на ходу. Ардеев отлично помнил каждый кустик, бугорок и ручей в тундре. Если для меня все они были, в общем, одинаковы, то для него каждое озерцо и сопка имели своё лицо, свою душу. До войны он окончил совпартшколу в Нарьян-Маре, был начитан, когда-то работал председателем оленеводческого колхоза. Но его любовью, его жизнью была тундра, её просторы. Полвека прожил он здесь, более пятнадцати тысяч дней, а каждый день что-нибудь да случается, и о каждом подчас можно говорить двое суток.

Бывало, мне казалось: всё рассказал Ардеев, исчерпался. Но нет. Наступал новый день, новая поездка, и он заводил речь о чём-то новом, неслыханном. В нём жила мудрость его народа, малого по числу, но великого по упорству и трудолюбию,— мудрость, переданная ему отцом, дедом, прадедом... Может, мудрость десяти поколений спрессовалась и отстоялась в нём, смешливом и коренастом ненце с весёлым нравом и крепкой душой...

Внезапно он замолк. Отчего — понять я не могу. Оттого ли, что устал говорить, оттого ли, что просто захотел помолчать, подумать о чём-то другом. А может, потому, что я не задаю вопросов, и он решил, что слушать его мне неинтересно.

Он замолк, и теперь всё его внимание было поглощено оленями. Под их ногами звучно чмокала топь, потом глухо застучала тандара — место бывшего стойбища. Когда олени пытались на бегу ухватить свежие листки берёзок, он покрикивал на них и безжалостно гнал вперёд: пастись так пастись, а ехать так ехать! Иногда перед крутым подъёмом Ардеев спрыгивал с нарт, приободрял быков криками, хлопал ладонью по тёплым спинам и что-то говорил по-ненецки.



— Что вы говорите нм, Андрей Петровнч?

Бригадир усмехнулся:

— Что говорю? «Ннчего, олешкн, говорю, потерпнте, скоро в стадо прнедем. Отработалн вы на сегодия своё. Будете траву кушать. Перегоню стадо на хорошее место. А для работы других быков возьмём».

Ненцы любят оленей с северной сдержаииостью. Онн знают их повадки и прихотн до мельчайшнх мелочей.

До снх пор остаётся для меня загадкой, как Ардеев может быстро отыскать в стаде одного-едннственного нужиого ему чёрного оленя, хотя там сотнн другнх, точно такнх же, как он.

Я люблю оленей. Да нх и трудно не любить. Уднвительио ладио скроены онн: гордо поставлены рога, ноги стройные н крепкие, а морда невероятно симпатнчная. В каждом их движеиии, в каждом повороте головы — нзящество н благородство.

Олеиь неприхотлив н по-северному скромен. Ои иикогда не напомннт о себе н редко нздаёт какне-ибудь звуки. Шесть дней может он стоять без корма н не погибиет. Двести километров может пробежать он, тяжело дыша н вывалив нзо рта язык, н с ним, как говорят, ннчего не случится.

Одиажды мы, перекочёвывая на другое место, ломалн чумы, н нам прншлось самим метров на пятиадцать перетащить по сухой земле иагруженые нарты. Мы, три мужика, с трудом проволокли их, н я, едва дыша, спросил: «А олеиям-то каково?

Сотни километров тащат...» Ардеев ответил: «Сказать олень не умеет, каково ему. А умел бы — сказал бы...»

Так мы ехали в стадо, молчали, и перед нами, широко раскидывая задние ноги, бежала пятёрка оленей. Они то скакали галопом, то переходили на мелкую рысь. Из-за туч показалось солнце и жёлтым светом залило тундру. Стало теплей.

Ардеев откинул с головы пыжиковый капюшон малицы, и ветерок гулял в его спутанных черных волосах. Он молчал; не вступал в разговор и я. Но всё же, видно, бригадир не мог долго молчать: бо́льшую часть жизни провёл в тундре, где и поговорить-то не с кем, и поэтому при малейшей возможности хотел наговориться на неделю вперёд, на месяц, на год.

— Вот мы о разных людях толкуем,— начал он.— А возьмём оленя — он ведь тоже очень разный. Двух одинаковых не встретишь. Глянь на нашего передового — умница, учёный олень. Хорошо чует вожжу. Только и ждёт приказа. Куда дёрну, туда и потянет и четырёх пелеев за собой поведёт, и они будут послушно держаться в ногу ему. Потому и зовётся — передовой. Он, видишь, не привязан к нартам, как остальные, а только к первому пелею. Тянет меньше других. Его дело — быстро соображать и пастуха слушаться. Своим оленьим чутьём чует он, глубока ли речушка, можно ли её перейти вброд. Помнит он, где чум стоит, за двадцать километров унюхает стадо. Едешь, бывало, ищешь в тумане оленей, а он вскинет голову, хватанёт ноздрёй ветерок и гонит прямо к стаду. Редко когда ошибётся. И четыре других верят ему: вроде командира он у них...

А вон видишь — справа от него бежит первый пелей, чёрный, с обломанным пальцем рога. Добрый бык! Исправно работает в упряжке, добросовестно. Всегда следит за передовым, не отстаёт ни на шаг; куда тот, туда и он тянет остальных за собой. Даю отдых — он отдыхает, хватает ягель или зелёный лист, а как махну хореем — сразу вскачь. Отличный пелей, что и говорить. Все бы такими были. Недаром стоит первым.

А вон второй, что бежит рядом с ним. Это великий хитрец. Редко бывает натянута его постромка: всё норовит за счёт товарищей выехать, тащить не любит, а пожрать — перво-наперво. Лодырь из лодырей. Не жалею на него хорея, да и он привык к нему: лучше получить удар, чем тащить, выбиваясь из сил. Ох, сволочуга!

А теперь четвёртый... ну, вон тот, самый крайний. Сильный, да норовистый больно, всё прыгает, играет, шалит. То на дыбы вскочит, то соседа рогом боднёт, то бегущую рядом собаку лягнёт. Забавляться бы ему, а не работать. Этому тоже от меня достаётся...

— А почему вы о третьем пелее ничего не сказали? — спросил я, кивая на чёрного, самого худого быка, который тащил нас, изо всех сил отталкиваясь ногами от топкой земли. Его розоватый язык торчал наружу, изо рта густо струился пар.

— А ты заметил, что я пропустил его? И правильно сделал. О третьем пелее нарочно не сказал ни слова. Особая речь о нём. Редкий это олень. Если б все такие были — как самолёт, летели бы нарты по тундре.

— Почему? — удивился я.— Разве он такой сильный?

— Не сильный. Дурной он. Не жалеет он себя, этот олень. Не считается ни с чем. Ни со своими силами, ни с погодой, ни с местом, по которому его гонят. Тянет и тянет. Нет-нет, не подумай, что он глупый какой-нибудь или там верный служака... Нет. Он просто слишком доверчив и серьёзен, чтоб обманывать. И слишком знает себе цену, чтоб дешевить. Ему кажется, что товарищам трудней, чем ему, что он тянет в треть силы. Вот и старается работать так, чтоб больше ему этого не казалось. Он тянет за добрых троих своих товарищей, и те волей-неволей пользуются этим. Смотри, как он исхудал! Он тащит, пока есть силы, пока держится на ногах. Такие долго не живут.

— А случается, что олени погибают в упряжке?

— Бывает... Этот не первый у меня. Ехал, помню, лет пять назад. Был в упряжке такой же. Часов семь нёс без передышки. Потом гляжу — упал. Думаю, запутался в упряжке; кричу — ни с места. Трогаю хореем — лежит. Тогда я подошёл к нему, схватил за уздечку, а он мёртв. Сердце, поди, разорвалось, не выдержало. Р-раз — и готово! Пропал.

Ардеев замолк. Не было желания говорить и у меня.

Вокруг без начала и конца простиралась тундра. Было очень тихо, и в этой тишине особенно отчётливо раздавался стук оленьих копыт: мягкий — о зыбкую, болотистую землю, тупой — о твёрдую почву сопок и едва слышный — о прибрежные пески речушек и ручьёв. Разные мысли приходили в голову. Их было много, и они не походили одна на другую.

Потом мы сделали остановку. Ардеев отошёл в сторонку за кустики, а я слез с нарт и, неуверенно ступая замлевшими от долгого сидения ногами, медленно подошёл к оленям. Они с жадностью хватали кустики яры, низкую травку, сухой сизоватый ягель и стаскивали нарты с места.

Менее охотно, как мне показалось, ел третий пелей — тот самый, о котором только что рассказывал бригадир. Он был горяч и худ. Я тронул его за тёплую холку, и он посмотрел на меня огромными измученными глазами с белой каёмкой белка. Глаза у него были тёмно-карие и странно, не по-звериному глубокие, преданно-печальные. Иногда их закрывали веки, и

тогда мне казалось, что олень хочет чем-то поделнться со мной. В его глазах, выпуклых н блестящнх, отражалось неяркое солнце, жндкая белизна первого снежка. В них я видел самого себя в длинной ненецкой малнце, смешного н уменьшенного в десяткн раз.

Я провёл рукой по его тёплой, в слнпшнхся волосках морде, н он не шарахнулся в сторону, не отвёл морду

Эх ты, дурной! Дуралей... Не думай слишком плохо о всех нас, о тех, кого ты возншь. Ведь и мы, людн, еслн говорить честно, тоже немножко оленн н такне же непохожне друг на друга, такие же разные...

1959





НОЧНЫЕ КРИКИ ЛЕБЕДЕЙ

Вечером в стойбище приехал пастух с запиской от председателя колхоза. Ардеев откашлялся и развернул её корявыми, тёмными пальцами.

— На звероферму мясо требуют,— сказал он.

За чаем я узнал от него, что в двадцати километрах от стойбища есть Большое озеро, на нём остров, и на этом острове уже третью неделю пасутся четыре оленя, больные копыткой; их нужно отвезти в посёлок базы оседлости, на звероферму, на еду серебристо-чёрным лисицам и голубым песцам.

— Ну и прожорливое зверьё,— сказал Ардеев.— Им хоть всё стадо в пасть гони — сожрут...

Выехали мы на следующий день, после обеда, на двух нартах. Впереди ехали мы с бригадиром, за нами — его помощник Яков Талеев.

По сторонам бежали собаки, то обгоняя нас, то отставая, исчезая в кустарнике и выскакивая на вершинки холмов. Утром выпал лёгкий снежок. Хлопья висели на рыжих листьях ивняка, на прибрежных хвощах, на сухом ягеле и черничнике. Сквозь этот непрочный покров, как сквозь марлю, просвечивала земля. Это была ещё не зима, в сентябре много раз выпадает

и тает снег, но, как мне показалось, олени были радостно взволнованы: им легко было тащить нарты. Ардеев не трогал быков хореем, а только помахивал им перед крутым подъёмом или глубоким ручьём, в который они не решались вбежать.

Дорога шла по рытвинам, кочкам, кустам, и нам часто приходилось вскидывать вверх ноги. Жёсткие ивы и берёзки, сгибаясь под нартами, царапали и стучали по днищу и снова как ни в чём не бывало выпрямлялись сзади. Олени обдавали нас водой и грязью, и я то и дело вытирал рукавом малицы лицо.

Солнце быстро клонилось к горизонту, лиловые тучи густели, закрывая небо, и от этого казалось, что сумерки наступают раньше обычного.

Все эти дни я жил в удивительном, необычном мире — мире озёр, сопок и рек, где можно ехать два дня и не встретить ни одной живой души, кроме куропаток или уток. Здесь всё было так не похоже на то, что я знал раньше, и я ходил ошеломлённый, не уверенный до конца, что всё это не сон.

Олени мчались вперёд, хлюпая и чавкая по болотцам, под полозьями хрустел снег, в ушах пел ветер... Дикие гуси, построившись углом, проплыли над нами и остались по правую руку, торжественные и безмолвные.

— На юг летят, к теплу,— показал на них хореем Ардеев.

Мы ещё часа два ехали по тундре. Потом я увидел на низком берегу круглого озера что-то ослепительно белое. Оно слабо шевелилось, и на его фоне даже свежевыпавший снег казался серым и не чистым. Я пристально вглядывался, но никак не мог понять, что это такое. Я не вытерпел и спросил у бригадира.

— Лебеди,— сказал он.— В табуны сбиваются — тоже пора им лететь

Лебеди... Каким обыденным, равнодушным голосом сказал он о них! Мы, москвичи, ходим любоваться ими в зоопарк, а здесь их были десятки, сотни, а может, и тысячи. Весь берег кишел ими, большими и сильными птицами, о которых сложены песни и сказки. Я впервые увидел их на воле, увидел не одного, не десяток, а целую армию лебедей. А бригадир с детства привык к ним. Он привык к тому, что для нас, людей города, кажется чудом. Он и сам, жилистый и смешливый, как ребёнок, был чудом в моих глазах. Он, Яков Талеев, другие пастухи-оленеводы, их жёны и дети были ясные, прочные люди. Они не тяготились одиночеством среди безлюдья, им некогда было скучать: они сами шили себе одежду из оленьих

шкур, потому что никакая фабрика не шьёт одежду и обувь для жизни в тундре; они сами выкраивали из кожи тынзен для ловли оленей, делали чумы; и только чай, сахар да муку не давала им кормилица-тундра. Да ещё батареи для радиоприёмников. Мне рассказывали, что однажды Ардеев проехал триста километров в распутье за новыми батареями, чтоб приёмник придвинул к нему, к самым дверям его кожаного дома, Москву...

К Большому озеру мы приехали в потёмках. Оно было действительно очень большое; чёрным пятном выделялся на нём остров. Земля потемнела быстрее неба, вода слабо отражала его сияние. Было очень тихо.

Ардеев соскочил с нарт и, позвякивая цепочкой, на которой у пояса висел большой пастушеский нож, подошёл к воде и низко пригнулся, глядя на остров.

— Не удрали,— сказал он,— двоих вижу. И остальные, верно, там.

Я много раз видел, как, разыскивая по вечерам или ночью отколовшихся от стада оленей, пастухи нагибаются вот так и шарят по земле глазами. Я также нагнулся и увидел вдали, на кромке острова, на фоне светлого неба, два тонких оленьих силуэта. Ну конечно, небо всегда светлей земли и помогает находить потерявшихся.

Мы привязали оленей, перевернули и столкнули в воду лежавшую вверх дном лёгкую лодку. Ардеев бросил на корму деревянный черпак, Талеев вставил вёсла. Путаясь в полах малицы, я вскочил в неё, ногой оттолкнулся от берега, и мы быстро поплыли по вечернему озеру.

Сзади раздался тонкий жалобный вой, переходящий в плач,— это собаки метались у края берега, думая, что мы навсегда бросили их. Они кинулись в воду и поплыли вслед за нами по тёмной воде, не переставая жалобно скулить.

Озеро было спокойное, почти застывшее, и наша лодка легко резала его тугую тихую воду.

У острого носа вода, разлетаясь на две быстрые струи, мягко и влажно курлыкала, негромко всхлипывала по бортам, а за кормой пенилась и клокотала. След лодки на миг вспыхивал в темноте и тут же гас.

Один берег уходил от нас в ночь, другой угадывался где-то впереди. Чёрное безмолвие, пригасив краски, лежало над тундрой. И весь мир состоял сейчас из одних силуэтов, строгих, резких, чеканных.

Издалека донеслись гортанные крики: «Кланк, кланк!» В них явственно звенел металл. Они были так неожиданны и отчётливы, что я замер.

— Лебеди,— сказал Ардеев, не переставая грести.

Мы плыли в темиоту, а лебедииые крики тревожио и победио звенели иад озером. Оии ие нарушали тишины и величия ночи, а дополияли её, давали ей душу и зиачеиие.

Я очиулся от мягкого толчка — лодка ткиулась в берег На остров вылез Талеев и придерживал лодку.

— Плохо ловить будет — темио,— сказал бригадир.

Пастухи захватили свёриутые в кольца тынзеи, и мы пошли по острову. Остров был совершеино гол: ии кустарника, ни привычных кочек, только одии крупиый ягель. Наверио, за три иедели олеии здорово отъелись иа нём.

Скоро иа фоне всё ещё не померкшего иеба мы заметили четыре рогатые фигуры. Подияв кверху головы, олеии чутко прииюхивались.

Пастухи, держа иаготове тынзеи, пошли к ним вдоль берега, а мие велели загоиять олеией с другой стороиы, следить, чтобы оии ие проскочили мимо. Ардеев стряхнул с себя малицу — она мешает бросать тыизей — и крадущимся шагом пошёл метрах в пятнадцати от Талеева. Я двииулся по другой сторoие острова. Четыре олеия, прихрамывая, бросились в глубь не занятой иами земли, подбежали к самой воде, застыли, точио изваяиия. Потом метиулись в противоположиую стороиу. Оии всё время держались вместе, рог в рог.

Накоиец мы прижали их к самому иосу острова.

— Иди иа иих,— шёпотом приказал мие Ардеев.— Только ие торопись, ие пугай их.

Я пошёл.

Олеии ещё больше иасторожились. В каждой лииии их тела чувствовалась едва сдерживаемая иапряжённость. Я приближался. Вдруг оии все разом сорвались с места и бросились в узкий промежуток между мной и водой. Но я предупредил их и, раскииув руки, подошёл к воде. Путь к бегству был отрезаи: оставалось бежать туда, где их с тынзеями в руках поджидали пастухи.

Медлеиио и иеслышио шёл я к оленям. И вдруг оии решились иа отчаяииый прорыв. Они рииулись вдоль берега к пастухам. Свистиули тыизеи, раздался стук копыт, храп, и я услышал плеск воды и ругаиь пастухов.

Я подбежал к берегу. Все четыре оленя, сбитые в ряд, точио их по-прежиему связывала невидимая иить, стояли по колено в воде и озирались на пастухов. Рога двух олеией были захлёстнуты тыизеями. Ремни туго иатяиулись, ио олеии и не думали выходить иа берег.

Тогда Ардеев хрипло закричал иа них и рывком дёриул тыизей. Заарканеииые, оии замотали головой, но с места ие троиулись. Зато два других, иарушив строй, зашли в воду по грудь и замерли поодаль. Не приияв ещё

решения, что делать дальше, Ардеев сердито выругался. Чуть успокоившись, сказал:

— Если б засветло приехали, не дичились бы так: видели б на том берегу упряжки с собратьями и вели себя спокойней... Ночь во всём виновата, будь она неладна!

Бригадир изо всех сил потянул за тынзей, но олень упёрся ногами в дно и не подвинулся ни на вершок. Тогда бригадиру стал помогать Талеев. Оленья шея вытянулась, но не придвинулась — олень героически продолжал держаться в воде. «Видно, без меня не вытащить эту репку»,— подумал я, намотал на руку конец тынзея, упёрся сапогами в какую-то ямку и всей тяжестью тела повис на ремне.

— Легче,— подал голос Ардеев,— так мы вытащим одну голову.

Оставив меня с Талеевым держать тынзей, бригадир в нерпичьих тобоках зашёл выше колена в воду, обвязал верёвкой оленя за шею, и мы легонько вытащили упрямца на берег· стоит оленю перехватить горло, как он сразу сдаётся и смирнеет. Но зато два других ещё не пойманных оленя вдруг захрапели и поплыли по воде в ночь, к материковой земле.

— Не хватало заботы!— выругался Ардеев.— Искать придётся теперь...

Тем же способом мы вытащили на берег второго оленя. Пастухи смотали тынзеи, и мы пошли к лодке. Сопровождать оленей поручили мне, и я вёл их за две верёвки. Они охотно сошли в воду и поплыли вслед за лодкой. Грёб Талеев, бригадир правил на корме, а я крепко держал верёвки, к которым были привязаны оба оленя. Собаки едва поспевали за ними. Высокие ветвистые рога неслись над водой, вода кипела и заворачивалась в маленькие воронки вокруг крепких оленьих спин.

На берег олени вышли раньше нас, и я, держась за натянутую верёвку, выбрался из шаткой лодчонки на топкий откос. Серый олень резко отряхнулся от воды, обдав меня холодными брызгами. Мне почему-то стало смешно, и я провёл рукой по его сильной и теплой, совсем по-человечески тёплой спине. Талеев понял мой жест по-своему.

— Ничего,— сказал он,— поднагуляли на острове мяса. Хватит зверям на несколько дней.

— Пожалуй,— отозвался бригадир.— Жаль, что те ушли!

— Значит, его убьют?— спросил я.

— Убьют...

— Пусть бы его оставили... Он такой рослый и здоровый.

— Верно, крупный. Да копытка одолела. Вишь, как хромает.

— А лечить-то пробовали?

Как ие пробовали! Толку иет Одна морока с иими. Пригоиим утром и забьём.

— Понятно,— сказал я.

Всё было более чем понятно. Убивать оленей в туидре иевыгодио: другим быкам придётся везти их мясо. Гораздо проще и расчётливей, чтоб оии сами, иа собствеииых иогах, доставили своё мясо в посёлок на звероферму.

Мы быстро вытащили иа берег лодку, опрокинули, вылив иабравшуюся воду, развязали упряжку и помчались по иочиой туидре.

За моей спииой бежали на верёвках два оленя. Только сейчас, после поездки иа остров, я опять услышал далёкие гортанные, с металлическим оттеиком крики лебедей, крики прощаиия с туидрой. В горячке ловли олеией я ие слышал, я забыл про них, а сейчас вот, когда нарты, переваливаясь с кочки иа кочку, поиеслись в иочь, я услышал их крики. Мы отъезжали от озера, и оии стаиовились всё глуше и печальиее, словио звучало в иих сожаление о том, что могло сбыться и не сбылось. Скоро их крики потерялись и умерли в скрежете полозьев, в стуке копыт.

Земля отвердела от заморозков, и копыта гулко, как о камень, гремели по ией. С левой стороны нарт сидел Ардеев, помахивал хореем и леииво покрикивал на ездовых быков. Я сидел справа, свесив набок иоги, и то и дело чувствовал, как поймаииые олеии осторожио трогают мою спииу рогами.

Храпя и выбрасывая от иатуги языки, ездовые тянули иарты на крутые склоны сопок, по брюхо вязли в болотцах, лезли сквозь жёсткий кустариик, а эти два оленя, чуть прихрамывая, легко бежали сзади. Оии и ие зиали, что эта холодная и тихая ночь была их последией иочью.

Я подобрал полу малицы, волочившуюся по земле, подиял вверх голову и замер. Всё иебо от горизоита до горизоита было забито крупиыми звёздами. Млечиый Путь широкой полосой опоясывал небо, и до него можно было достать хореем. Поляриая звезда так иизко иагнулась иадо миой, что я боялся, как бы ездовые быки иеиароком не сшибли её своими рогами.

Вселеиная, огромная и спокойиая, во все глаза смотрела на иас — иа две упряжки и трёх человек. Я ехал и думал о том, как прост и прекрасен мир, в котором мы живём, как иадо любить и цеиить его и как ничтожеи тот, кто ие поиимает этого.

Упряжки мчались по тундре, то исчезая в оврагах, то выскакивая на сопки. Гулко стучали копыта, разбивая лёд иа лужах. Сииий огоиь звёзд охватил иебо и колыхался огромным

густым заревом, а внизу лежала бескрайияя туидра с замёрзшими ручьями и речушками, откуда доносились гортаииые крики лебедей.

Это было иезабываемо. И хуже всего было то, что временами меия за спину осторожио трогали рогами бегущие сзади олени, как будто я мог что-то сделать и помочь им, и я всякий раз вздрагивал и отодвигался от иих.

1959





КЕШКА

Кешка лежал на животе, уперев локти в песок, курил и задумчиво смотрел на спокойную синеву Байкала.

На море был полный штиль — ни всплеска, ни морщинки, и вода казалась тугой, неподвижной, словно она, как и Кешка, глубоко задумалась о чём-то. Рядом сидели двое мальчишек и ожесточённо спорили, пустят ли атомный ледокол на Байкал. Юра, сын учительницы местной школы, тонкий, вертлявый мальчонка, утверждал, что с Байкала хватит и одного старого ледокола «Ангара», который сейчас ремонтируется на судоверфи в посёлке Лиственничном, что Байкал — это не Ледовитый океан, где нужно круглый год проводить через льды караваны судов.

Юра позапрошлым летом приехал с матерью из Батуми, и это небольшое сибирское море после огромного Чёрного моря никак не казалось ему достойным того, чтоб сюда пускать сверхмощный атомный ледокол.

Зато Тимоша, сын рабочего с золотого прииска, здесь родился, был исконный байкалец и считал, что Байкал — едва ли не самое большое и важное море в стране. И то, что с ним не был согласен этот тонконогий насмешливый мальчонка, которого трудно переспорить, обижало и злило.

— А омуля жрать любишь! — крикнул вдруг Тимоша, сжимая кулаки: все мирные доводы были исчерпаны, и ему захотелось хорошенько стукнуть приятеля по лбу.

— Люблю. А что?

— А то, что и сюда пустят ледокол!

Юра завалился на спину и, как клоун в цирке, вскинул обе ноги.

— Омуль и атомный ледокол — нет, это здорово! — смеялся он, дрыгая ногами.

У Тимоши побледнели уши. На его широком лице резко проступили веснушки.

— Кешка, ведь правда пустят?

— Когой-то? — спросил тот, не поворачивая головы.

— Атомный ледокол.

— Держи карман шире!..— Кешка сплюнул на песок.

Он был равнодушен к этому спору. Он по-прежнему лежал на животе и курил папиросу медленными, экономными затяжками, стараясь растянуть удовольствие.

Кешка весьма смутно понимал, что такое атомный ледокол, и уж совсем не мог понять, зачем он нужен на Байкале зимой, когда вся жизнь замирает. Кешка не привык мечтать о чём-то неясном, далёком, несбыточном. Сейчас он, например, думал о том, что скоро начнётся перелёт кедровки — тёмной, в светлую крапинку птицы, очень глупой и вкусной,— и нужно сегодня же приготовить хозяйство — починить рогатки, насобирать на берегу мешочек каменных кругляков: они летят, как пули, стремительно и точно — редкая кедровка увернётся... Мысли о кедровках были ясны и ощутимы для Кешки, как эти каменные кругляки, но как можно думать о том, чего даже и не представляешь?

Кешка был костист, коренаст и неописуемо рыж. Ветерок слегка шевелил его длинные, с полгода не стриженные кудри. Его шея тоже густо заросла, волосы воинственно торчали вокруг ушей и почти скрывали их, а макушка походила на рыжий водоворот. Его крошечный — пуговкой — нос драчливо смотрел вверх, и толстая верхняя губа оттопыривалась, обнажая крупные крепкие зубы, которые с необычайным проворством раскусывали кости, а если нужно было, вытаскивали из досок гвозди не хуже клещей. Левый глаз его сильно косил, и трудно было установить, куда он смотрит.

Между собой поселковые мальчишки звали его Кешка Косой. (В Сибири почти каждый пятый человек — Иннокентий, и в посёлке было шестеро Кешек; и чтобы их не путать, каждый имел кличку.) Но называть его так в глаза мальчишки боялись: Кешке стукнуло четырнадцать лет, но кулаки у него были вполне взрослые. На его худом крепком теле болтался

замусоленный и заплатанный офицерский китель, с которым он не расставался круглый год, непомерно большие штаны от рабочей спецовки и огромные брезентовые туфли с бечёвками вместо шнурков.

И вот сейчас он лежал на байкальском берегу и медленно курил. Вопрос о ледоколе его не волновал.

— Спрячь! — послышался шёпот Тимоши.

Похрустывая песком, к ним подходила Софья Павловна. Она была прямая, лёгкая, как девушка, в аккуратном коричневом платье с белым воротничком и большим узлом волос на затылке. Софья Павловна собиралась выйти замуж за бухгалтера прииска (от первого мужа она уехала) и потому даже за водой ходила в хорошем платье. Единственная учительница в школе, она была знаменитостью в этом глухом сибирском посёлке. Из всех окон и из-за всех оград следили за ней десятки внимательных глаз, и она во всём должна быть на высоте положения. У неё было очень строгое, красивое лицо, и, когда она сердилась, её большие чёрные глаза сверкали. (У Юры были точно такие же глаза, только чуть поменьше.) Одевалась она со вкусом, скромно, стараясь особенно не отличаться от местных жителей.

Заметив Софью Павловну, Кешка тотчас сунул папиросу в рот, затянулся длинной затяжкой и шумно выдохнул большое облако дыма.

Учительница остановилась и, как это она делала в классе, сцепила на животе руки.

— А ну брось,— проговорила она спокойно.

— Что вы, Софья Павловна,— изумлённо сказал Кешка, не меняя позы.— Разве можно такой табачишко бросать? Сильный! — И Кешка второй затяжкой скурил папиросу.

— Докуришься до беды,— сказала она и обернулась к сыну.— Домой! Сколько раз тебе говорила: не шляйся где попало.

Юра покраснел и как-то весь съёжился, словно стал меньше, и даже ноги его, обтянутые, как у девчонок, чулками, будто стали тоньше. Ему было стыдно перед ребятами. Он мельком глянул на Кешку, Кешка подмигнул ему косым глазом и сделал рукой незаметный, но ясный и точный, как приказ, жест: не дрейфь! Будем ждать.

Софья Павловна взяла сына за руку, рывком оторвала от песка, и тот, виновато оглядываясь, засеменил рядом. Лицо у учительницы оставалось невозмутимым. Десять лет работы в школе — это не так уж мало. Вначале, по неопытности, она сердилась, кричала, но это не помогало. Теперь же во время уроков слышно, как малюсенький комар, залетевший в форточку из тайги, тоненько ноет в классе. Дело не в крике, не в

угрозах. Лёгкое движеиие. бровей, оказалось, действует сильиее длииной иотации, молчаливо сомкиутые губы — красноречивей стука кулаком об стол, выжидающий твёрдый взгляд — убедительией крика. И с тех пор, когда оиа поияла это, её красивое, большеглазое лицо словно измеиилось. Улыбка, изумление, сомиеиие, смех — всё куда-то исчезло, ушло, а иа лице осталось только то, что было необходимо для воспитания детей.

И особеиио иаучилась владеть собой Софья Павловна здесь, в посёлке, после одиого случая с Кешкой. На первом же уроке на её стол вдруг прыгиул с парты какой-то иеведомый полосатый зверёк. Ои прыгиул так виезапио, что оиа от ужаса взвизгиула на весь класс н отскочила в угол. Только потом узиала Софья Павловна, что это был безобидиый буруидучок, житель местных лесов, ие страшный даже малым ребятам.

Учительница не спрашивала у ребят, кто прииёс зверя: виновника искать ие пришлось. Лицо выдавало его лучше всяких улик. Какое же это было иеприятиое лицо! Толстогубое, косоглазое, куриосое: иоздри смотрят в упор...

Софью Павловиу передёрнуло:

— Ты?

— Я,— даже как-то обрадоваиио согласился он.

— Зачем ты это сделал?

— А хотел узиать: вы сибирская или приехавшая.

— Ну, н ты рад? — спросила оиа, сделав камеииое лицо.— Ты выяснил, кто я?

— Ага...

Он так и сказал: «Ага». И оиа тут же поняла: этот мальчишка — атаман, главиый враг её, н, еслн она хочет овладеть классом, этого мальчишку иужио атаковать и сломить. Но вот уже прошёл год, а Софья Павловиа до сих пор ие знала, победила ли оиа Кешку. Ои был сиротой, и его дядя, работавший иа драге, только руками разводил: растёт, как бурьяи!

Кешка был грозой огородов. Виезапиое исчезновеиие кур тоже приписывали ему. Одиажды у ручья иашли большого дохлого гуся, и, хотя никаких улик ие было, хозяии гуся едва не оторвал Кешке уши...

Ои, этот Кешка, был дик и запущеи, как иепроходимая тайга, ещё ие троиутая человеком. Ему было иа всё иаплевать. На всё, кроме сопок, тайги и моря. В сочииеииях ои писал «бойкал», не мог доказать, что Земля круглая, хотя человечество зиает об этом очеиь давио.

Ои стоял у карты, правым глазом смотрел иа указку, а левый, косящий, отъезжал в другую сторону и смотрел иа класс: Кешка иикак ие мог обиаружить иа карте Татарский пролив.

«Ух, какая бестолочь, какой лоботряс!» — думала Софья

Павловна, сажая его на место. Она с неподвижным лицом подходила к столу и старалась спокойно, чтоб даже скрип пера не выдал её торжества, вписать в журнал двойку. И когда она вставала и вызывала другого ученика, ей вдруг казалось, что двойка-то в журнале стоит, верно, но разве это похоже на атаку, о которой она думала в тот день, когда этот злосчастный полосатый бурундучок прыгнул на её стол?

Но что было, может, самое страшное: вокруг Кешки вечно толклись ребята. И даже её Юра, умный, не по годам развитой мальчик, тоже тянулся к нему. И, конечно, к добру это не могло привести. Однажды она заметила, что от сына попахивает табаком; потом ему кто-то поставил лиловый фонарь под глазом... И что только Юра находил в Кешке?

Через полчаса Юра вернулся на берег.

— Удрал! — гордо сказал он Кешке, вытянулся на песке и заглянул ему в глаза.

— Нормально,— ответил Кешка и тут же пообещал научить его зимой ставить силки на зайцев и лис, «бормашить» — ловить из лунок рыбу на маленьких рачков-бокоплавов, или, как их зовут на Байкале, бормашей.

У Кешкиного дяди была лодка, и мальчишка, можно сказать, был хозяином её.

— Хорошо бы на лодке покататься,— мечтательно, с намеком произнёс Юра.

— Пошли вы все к чёртовой бабушке,— лениво сказал Кешка и почесал ногу об ногу.

— Ну хоть два разика прокати от пирса к пирсу! — приставал Юра.— Что тебе стоит?

Кешка и не пошевелился. Он по-прежнему смотрел на тихое и сверкающее на солнце море.

— Дам трёшку,— сказал Юра и осторожно коснулся его руки.

Кешка помолчал, почесал голову, подумал.

— Чёрт с вами,— проворчал он, зевая и поднимаясь с песка.— Только деньги на бочку.

Он сбегал за ключом и вёслами. Отомкнув замок, оттолкнул лодку с ребятами. Грёб он размашисто и небрежно, словно только из одолжения.

В другие годы в эту пору на Байкале уже холодало, но нынче было на редкость тепло и солнечно. Кешка упирался огромными брезентовыми туфлями в деревянную планку на днище и, совсем не напрягаясь, почти машинально погружал и вынимал вёсла. Юра лежал на носу, сквозь растопыренные пальцы пропускал воду и рассматривал в десятиметровой глубине белые валуны. Тимоша развалился на корме и чему-то улыбался.

— Ну, накатались? — спросил Кешка, подгребая к пирсу.

Но ребята стали упрашивать, чтоб он вывез их из бухты в открытое море. Кешке, признаться, уже наскучило грести. Года два назад ему доставляло удовольствие держать в руках вёсла и, отталкиваясь короткими толчками, чувствовать, как стремительно летит лодка и как наливаются упругой силой мускулы. Но сейчас его мускулы достигли предельной твёрдости, и он выезжал только по делу: поставить сеть, покатать за плату туристов, которые каждое лето разбивали на окраине посёлка, в сосновом бору, палаточный городок.

— А ну вас к лешему,— пробурчал он, высморкался в воду и неохотно повернул в открытое море.

Он отгрёб уже так далеко от берега, что весь посёлок можно было накрыть ладонью и сосны на сопках казались не толще травинок. Домики, разбросанные в пади, походили на горсть костей домино. Жарко припекало солнце, на море был полный штиль — оно переливалось то зелёным, то синим, то оранжевым, и у Кешки на душе было покойно и тихо, как и на море.

— Ну, хватит! — наконец сказал он и, не слушая нытья приятелей, повернул лодку к берегу.

И здесь случилось неожиданное: он грёб к берегу, а лодка стояла на месте. Но и будь он в десять раз сильней, он не смог бы и на метр приблизиться к берегу. Откуда-то сверху внезапно упал ветер, скомкал и словно сдёрнул с Байкала зеленовато-синюю праздничную скатерть, и под ней оказались тёмно-серые волны. Ветер был такой порывистый и крепкий, что погнал лодку назад.

Кешка уже не пробовал грести к берегу, он упирался вёслами о воду, чтоб затормозить, но и это было бесполезно. Волны ударяли о борт, качали лодку, и их несло, несло, несло... Туча закрыла солнце, в ушах засвистел ветер, в лицо ударили брызги. Мальчики схватились за борта, уставились на Кешку.

— Горная! — крикнул Кешка и резко повернул лодку носом к волне.

Потом вырвал из уключин вёсла, кинул на дно лодки, а с коротким кормовым бросился к корме управлять. Волны вскипали вокруг, заливая лодку.

Горная... Ужасом звенит это слово для байкальцев. Горная — это падающий с гор ветер ураганной силы. Горная — и с сопок катятся огромные камни, с откосов срываются овцы, летят со скал сломанные деревья... Горная — небо становится чёрным, и море мечется, как раненый медведь, и тонут лодки, и захлёбываются суда.

Ветер был такой плотный, что стащил ребят с лавок, повалил на дно лодки. Ветер срывал пену, с воем крутил её, взвинчивал в слепое небо и гнал гигантские ревущие смерчи.

Кешка зажмурился, пригнулся, покрепче вцепился в весло. И смерч пронёсся за кормой, окатив лодку брызгами.

— Черпай! — заорал Кешка.— Черпай!

Мальчишки ничком лежат в полузатопленной лодке, дрожат, вцепившись в лавки. Бросить весло нельзя: встанет лодка бортом к валу, перевернётся — и крышка.

— Черпай! — ещё громче завопил Кешка и сорвал голос.— Черпай, а то убью!

Но попробуй испугай тех, кто уже считает себя мёртвым! И глаза у них нечеловеческие — застывшие, неживые. И тогда, улучив момент, Кешка хватил Тимошу веслом по плечу.

— Ну, крыса, ну! — И весло опустилось на спину. И ещё раз. И ещё.

В Тимошиных глазах блеснула мысль, он схватил деревянный черпак и, как автомат, стал выливать воду. И Юра тоже вдруг очнулся и начал пригоршнями бросать холодную воду за борт.

А лодку несло и несло. Она прыгала по валам, ныряла и снова взлетала вверх. Ни берега, ни неба... Только свист, грохот и плеск, только Кешка с веслом на корме...

На мгновения ветер стихал, но тут же опять наваливался и гнал лодку, колотил мальчишек кулаками по спинам, норовил ударить волной в борт. Но Кешка не зевал: рывок веслом — и лодка, как лошадь на скачках, носом перепрыгивала вал. И тогда ветер швырял вал с другой стороны...

Эй, Кешка, не зевай! В оба смотри, Кешка!

И Кешка смотрел в оба. Секунда — и лодка вновь рассекала носом вал.

— Эй, дуй до горы! — шептал он себе, холодея в каком-то диком восторге.— Не знаете вы Кешку! Кешка не сдаётся! Разве ты не самый смелый человек на свете? Наплевать на эту горную, Кешка! Наплевать!

И ни один вал не мог подмять лодку, и ветер не мог оглушить его, и они мчались вперёд, туда, где уже сквозь мглу стал смутно прорезаться противоположный берег... Вон он, километрах в пяти, там спасение, там жизнь. Только бы на скалу не бросило...

Но что это? Небо полетело куда-то вбок, сверху — чёрные доски, снизу — пена и мутная мокрая мгла. И он ушёл в воду. Тело сжало холодом. И тотчас, выставив руки, Кешка вынырнул. Мелькнуло днище перевёрнутой лодки. Он рванулся к ней, уцепился за выступы сшитых досок. Что-то тёмное показалось у кормы. Кешка схватил это тёмное рукой и за волосы рывком потащил к лодке.

— Держись! — заорал он Тимоше, вжимая его пальцы в выступы досок и свирепо выкатив глаза.



И оглохший, полуживой Тимоша послушался. А Кешка, нырнув, ушёл под воду и стал шарить руками вокруг

Гудел ветер, неслись тучи, катились волны...

Кешка догнал лодку и вытащил третьего. И вдруг он заметил, что Тимошкины руки сползают по доскам и он медленно опускается в клокочущую воду.

— Тимка, не дури — прибью!

Тимошины пальцы задержались за уступ, и он перестал сползать.

Тяжёлая волна швырнула лодку на берег. Берег в этом месте был низкий, песчаный, и горная не размозжила мальчишечьи головы о гранитные скалы. Как только Кешка почувствовал под ногами землю, он подхватил Юру на руки и вынес из полосы прибоя. Потом вернулся к Тимоше, который всё ещё лежал на днище, вцепившись в доски, силой оторвал его и оттащил к Юре.

Рыжие волосы Кешки прилипли ко лбу, китель и штаны обвисли, и с них лила вода; одна туфля утонула, и из штанины торчала расцарапанная в кровь босая нога.

Он расстегнул на Юре рубашку, стал растирать его и делать искусственное дыхание. Он, Кешка, не мог доказать, что Земля круглая, но эти вещн он знал — без них в тайге не проживёшь.

Тимоша подавал признаки жизни и мало беспокоил Кешку. Но Юра оставался бледен и неподвижен. Кешка трудился до тех пор, пока на серых щеках мальчонки не появился слабый румянец. Дрогнули веки, и на Кешку глянули знакомые, большие, чёрные глаза, глаза его учительницы...

Сосны на гребнях скал ещё гудели и качались, море, как бешеное, бросалось на берег но до мальчишек доползти оно уже не могло.

Вокруг было пустынно. Справа и слева — берег в пене прибоя, а сверху нелюдимые бурые скалы в трещинах, изломах, осыпях. Кто знает, живут ли вблизи люди... Есть на Байкале места, где на десятки километров не встретишь ни души.

Через час Кешка поднял ребят на ноги. Они растерянно озирались вокруг и плакали.

— Буду лупить,— предупредил Кешка и показал кулаки.— А ну, шагай!

И мальчики, как гусята, покорно пошли по пустынному берегу, а за ними шагал Кешка, злой и решительный...

Через три дня к пирсу прииска приближался катер. На пирсе стояли несколько человек и, не отрываясь, смотрели, как катер разворачивается и подходит к причалу. Один из мужчин поймал конец каната и накинул петлю на деревянный кнехт.

Из кубрика одии за другим показались ребята.

Как только иа пирс ступил Юра, Софья Павловиа схватила его, прижала к груди и иачала осыпать поцелуями. Её красивое, строгое лицо оживилось и стало ещё красивей и моложе. Большие чёрные глаза светились счастьем.

Последиим иа пирс, шлёпая босой ногой, спустился Кешка, рыжий, костистый, ещё больше похудевший. Правый глаз его смотрел прямо, а левый куда-то вбок, в море.

На одной иоге темнела туфля, вторая была босой. Его никто ие встречал.

Ои был сирота, а дядя работал в дневную смену и ие мог отлучиться.

Увидев его, Софья Павловна выпустила из рук сына, и глаза её, в которых ещё мгиовеиие иазад светилась радость, как-то пристальио и строго осмотрели Кешку.

Оиа хотела что-то сказать ему, ио иичего ие сказала, а только растеряиио троиула тугой узел волос на затылке, вздохиула и отвериулась в стороиу...

А иа Байкале был полиый штиль — ии всплеска, ии морщиики, только ярко светило солице, только спокойная синева уходила вдаль, как будто иичего и ие случилось.

1957



СОДЕРЖАНИЕ

Для младшего школьного возраста

Мошковский Анатолий Иванович

ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ

Рассказы

ИБ № 3441

Отаетственный редактор З. С. Карманоаа. Художестаенный редактор М. Д. Суховцеаа. Технический редактор Н. Г. Мохова. Корректор А. Н. Грибермaн. Сдаяо в набор 25.12.78. Подписано к печатн 05.04.79. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бум. тнпогр. № 1. Шрнфт лнтературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 4. Уч.-язд. л. 3,74. Тнраж 750 000 экз. Заказ № 4084. Цена 15 коп. Ордена Трудоаого Красного Зиамеин издательстао «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасскяй пер., 1. Ордена Трудового Красного Зиамени фабрнка «Детская кннга» № 1 Росглааполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полнграфнн н книжной торгоали. Москаа, Сущёаскнй аал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

15 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В серии «Книга за книгой» в 1979 г.
вышли и выходят следующие книги:

Кассиль Л. ОГНЕОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Рассказ о войне.

Платонов А. СУХОЙ ХЛЕБ.

Рассказы о детях.

Полевой Б. РАЗВЕДЧИКИ.

Рассказы о бойцах Советской Армии.

Твардовский А. РАССКАЗ ТАНКИСТА.

Стихи о родном крае, о героизме.